

В.В.Маяковский

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ



В.В.Маяковский

СТИХОТВОРЕНИЯ

●

ПОЭМЫ



Москва
«Художественная литература»
1986

*Поэтическая
библиотека*



Текст печатается по изданию:

В. В. Маяковский. Избранные сочинения в двух томах.
«Библиотека классики», М., «Художественная литература»,
1981 г.

Оформление художника

В. В. СУРИКОВА

Иллюстрации художника

В. ЛУКАШОВА

Портрет на обложке

художника

Ю. МОГИЛЕВСКОГО

СТИХОТВОРЕНИЯ



А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.

А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города

повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

2

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ЖЕНЕ

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков оваян:
ведь это ж дочь твоя —

моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!

3

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ МАМЕ

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца,—
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?...»

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибою смеха мгlistый вал. заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гроба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу;
слов иступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою
дольней.
Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалой мой

в божницу уродца века!
Я одиноко, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!

Дай исцелю твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.

Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.

Ты! Нас — двое,

ораненных, загнанных ланями,

вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.

Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,

может быть, мать мне сыщется;

бросил я ей окровавленный пеенями рог.

Квакая, скачет по полю

канавы, зеленая сыщица,

нас заневолить

веревками грязных дорог.

1913

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбила

на крохотные, сосущие светом адки.

Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,

над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечерюющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

1913

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверев, будет тереться,
ощетинит ножки стоголавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
 кривляться перед вами не захочется — и вот
 я захохочу и радостно плюну,
 плюну в лицо вам
 я — бесценных слов транжир и мот.

1913

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
 значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плевочки

жемчужиной?

И, надрываясь

в метелях полуденной пыли,

врывается к богу,

боится, что опоздал,

плачет,

целует ему жилистую руку,

просит —

чтоб обязательно была звезда! —

клянется —

не перенесет эту беззвездную муку!

А после

ходит тревожный,

но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды

зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людам страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой,
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьем криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскупайте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу урбидился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914 г.

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма — а — а — ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг,—
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:

«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»

И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.

А вечер кричит,
безногий,
безрукий:

«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —

выбрыцав шпоры в горячей мазурке,
выкрутить русский ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?

Белая, белая, как на гробе газет.

«Оставьте!

О нем это,
об убитом, телеграмма.

Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаюсь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом попитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:

я вот тоже
 ору —
 а доказать ничего не умею!»
 Музыканты смеются:
 «Влип как!
 Пришел к деревянной невесте!
 Голова!»
 А мне — наплевать!
 Я — хороший.
 «Знаете что, скрипка?
 Давайте —
 будем жить вместе!
 А?»

1914

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
 36, 24.
 Место спокойненькое.
 Тихонькое.
 Ну?
 Кажется — какое мне дело,
 что где-то
 в буре-мире
 взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.
 Хорошая.
 Вкрадчивая.
 И чего это барышни некоторые
 дрожат, пугливо поворачивая
 глаза громадные, как прожекторы?

Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала,— набитый слезами куль,—
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!
Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца,—
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
Солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!

Он раз чуме приблизился тронем,
смелостью смерть поправ,—
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!

Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто,—
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!

На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней,—
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,—
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напевааете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

1915

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей гряда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

1915

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодарушью миноносъему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносъему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

1915

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюд всяческой пищи.

Если ударами ядер
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть вельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в зале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
в тем, что пожаром мир опоясан,—
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны,—
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чинов ник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы,— думает чиновник,—
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зжал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк обшарьте карманы —

в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
Чтоб об этом больше никогда не писать.

1915

КО ВСЕМУ

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,—
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.

Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоём — как на смертном о́дре —
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы ,
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.

Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную,—
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.

Ночью вскóчите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта,—
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему,—

чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи став,
последний выйдет день им,—
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вьлью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

ЛИЛИЧКА!

ВМЕСТО ПИСЬМА

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые.
руки твои, иступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гирия ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.

Дай в последнем крике вырвать
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умóрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отды
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,

старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицега розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
 Прилипну к обоям.
 Где роза есть нежнее и чайнее?
 Хочешь —
 тебе
 рябое
 прочту «Простое как мычание»?

ДЛЯ ИСТОРИИ

Когда все расселятся в раю и в аду,
 земля итогами подведена будет —
 помните:
 в 1916 году
 из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
 просто на прохожего гляжу ли —
 каждый опасливо придерживает карман.
 Смешные!
 С нищих —
 что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
 кандидат на сажень городского морга —
 я
 бесконечно больше богат,
 чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних иот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Склóнится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами мои́ми замлеть.
Я — пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смерти ей! —
великолепие,

что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленипреклоненных соберет мировое вече,—
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человеческое слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй,—
как же,
найдешь его!

1916

**СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ,
ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР**

Четыре.

Тяжелые, как удар.

«Кесарево кесарю — богу богово».

А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан,—
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром,—

ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.

Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовый,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

1916

РЕВОЛЮЦИЯ

ПОЭТОХРОНИКА

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.

Рдел багрян и дóлог.

В промозглой казарме

суровый

трезвый

молился Волынский полк.

Жестоким

солдатским богом божились

роты,

бились об пол головой многолобой.

Кровь разжигалась, висками жиясь.

Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,

приказавшему

«Стрелять за голод!» —

заткнули пулей орущий рот.

Чье-то — «Смирно!»

Не кончил.

Заколот.

Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте

в Военной автомобильной школе

стоим,

зажатые казарм оградю.

Рассвет растет,

сомненьем колет,

предчувствием страха и радюя.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,

вот она:

«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырывают!

Горе двуглавному!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.

Как в бурю дюжина груженных барж,
над баррикадами
плывет, громяхая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!

Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не ожил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! — вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твоё прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.

Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных копий.

Чья злоба на́двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех ма́ло?!
Или небо над нами ма́ло голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серую,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громбвое:
— Верую
величию сердца человеческого! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 г., Петроград

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля,
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —

свобода?
 бог?
 Рубль!
 Когда же встанешь во весь свой рост,
 ты,
 отдающий жизнь свою им?
 Когда же в лицо им бросишь вопрос:
 за что воюем?

1917

* * *

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
 день твой последний приходит, буржуй.

1917

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!
 Выше, гордых голов гряда!
 Мы разливом второго потопа
 перемоем миров города.

Дней бык пег.
 Медленна лет арба.
 Наш бог бег.
 Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?
 Нас ли сжалит пули оса?

Наше оружие — наши песни.
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

1917

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.—

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.

Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...

Подошел и вижу —
за каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,

— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъявленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!

О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двулика?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля,—
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское

— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырёхжды славься, благословенная!

1918

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердце и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало — построить парами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.

На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскрой ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

1918

ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать — кишка тонка».
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.

А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю -
не любите праздных фраз вы.
Рубите дуб - работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?

Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь - рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов - почтенный паче -
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд - гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же

в безделье бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше - поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца - такие ж моторы.
Душа - такой же хитрый двигатель.
Мы равные.

Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.

Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молотом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов -
на мельницу!

К мукомолам!

Водой речей вертеть жернова.

1918

Левый марш (Матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,

товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним,

Левой!
Левой!
Левой!
Эй, синемблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!

Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами гóря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нáнятой,
стальной изливаются леевой,—
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

МЫ ИДЕМ

Кто вы?

Мы

разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.

Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаём железобетон.

Победители,

шествуем по свету

сквозь рев стариков злючий.

И всем,

кто против,

советуем

следующий вспомнить случай.

Раз

на радугу

кулаком

замахнулся городской:

— чего, мол, меня нарядней и чище! —

а радуга

вырвалась

и давай

опять снить на полицейском кулачище.

Коммунисту ль

распластываться

перед тем, кто старей?

Беречь сохранность насиженных мест?

Это революция

и на Страстном монастыре

начертила:

«Не трудящийся не ест».

Революция

отшвырнула

тех, кто

рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор —
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок вёдра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость,
ничего —
живет.

1919

ВЛАДИМИР ИЛЬЧИ!

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —

интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга — вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И зéмли
сели на óси.
Каждый вопрос — прост.
И выявилось
два
в хаóсе
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого — мети!
Ноги знают,
чьими
трусами
им идти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улитые — «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.

Пожарами землю дымя,
езде,
где народ исплѣнен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это —
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют.—
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б

не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

1920

**НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ
ЛЕТОМ НА ДАЧЕ**

(ПУШКИНО, АКУЛОВА ГОРА, ДАЧА РУМЯНЦЕВА,
27 ВЕРСТ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это

стало.

И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!

довольно шляться в пекло!»

Я крикнул солнцу:

«Дармоед!

занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»

Я крикнул солнцу:

«Погоди!

послушай, златолобо,
чем так,

без дела заходить,

ко мне

на чай зашло бы!»

Что я наделал!

Я погиб!

Ко мне,

по доброй воле,

само,

раскинув луч-шаги,

шагает солнце в поле.

Хочу испуг не показать —

и ретируюсь задом.

Уже в саду его глаза.

Уже проходит садом.

В окошки,

в двери,

в щель войдя,

валилась солнца масса,

ввалилось;

дух переведа,

заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему,—
skonфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась,—
и степенность
забыв,
сичу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —

взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,

светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:
«Я видела —
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне,
ей-богу, не страшен.

1920

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, красноезвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,

к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи,—
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,—
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,—
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

1920—1921.

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменяв,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне—
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморюсь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платя.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурировать я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка áла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канарейца.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну, что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к этaким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.

И нам,
если мы на митинге ревим,
рамки арифметики, разумеется, ўзки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
«Электрификация?!» — масштаб всероссийский.
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
— четырехлетний навык! —
тащусь меж канавиц,
канав,
канавок.
И то
— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта

плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.
Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе?!

1921

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромеов и Джульетт.

Это вам —
 пентры¹,
 раздобревшие как кони,
 жрущая и ржущая России краса,
 прячущаяся мастережими,
 по-старому драконя
 цветочки и телеса.

Это вам —
 прикрывшиеся листиками мистики,
 лбы морщинками изрыв —
 футуристики,
 имажинистики,
 акменистики,
 запутавшиеся в паутине рифм.

Это вам —
 на растрепанные сменившим
 гладкие прически,
 на лапти — лак,
 пролеткультцы,
 кладущие заплатки
 на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —
 пляшущие, в дуду дующие,
 и открыто предающиеся,
 и грешащие тайком,
 рисующие себе грядущее
 огромным академическим пайком.
 Вам говорю
 я —
 гениален я или не гениален,
 бросивший безделушки

¹ Художники (фр. — peintres).

и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндни
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?

Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.

Слушайте!

Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»

Пока канителю, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
 ждя, что выйдет из уст его,
 стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
 Товарищи,
 дайте новое искусство —
 такое,
 чтобы выволочь республику из грязи.

1921

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
 вижу каждый день я:
 кто в глав,
 кто в ком,
 кто в полит,
 кто в просвет,
 расходится народ в учрежденья.
 Обдают дождем дела бумажные,
 чуть войдешь в здание:
 отобрав с полсотни —
 самые важные! —
 служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
 «Не могут ли аудиенцию дать?»
 Хожу со времени она». —
 «Товарищ Иван Ваньч ушли заседать —
 объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
 Свет не мил.
 Опять:

«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
гóло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорóгой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать

надо успеть нам.
 Поневоле приходится раздвояться.
 До пояса здесь,
 а остальное
 там».

С волнения не уснешь.
 Утро раннее.
 Мечтой встречаю рассвет ранний:
 «О, хотя бы
 еще
 одно заседание
 относительно искоренения всех заседаний!»

1922

СВОЛОЧИ!

Гвоздимые строками,
 стойте нѣмы!
 Слушайте этот волчий вой,
 еле прикидывающийся поэмой!
 Дайте сюда
 самого жирного,
 самого плешивого!
 За шиворот!
 Ткну в отчет Помгола.
 Смотри!
 Видишь —
 за цифрой голой...

Ветер рванулся.
 Рванулся и тише...
 Снова снегами огрѣб

тысяче-
миллионно-крыший
волжских селений гроб.
Трубы —
гробовые свечи.
Даже вороны
исчезают,
чуя,
что, дымясь,
тянется
слащавый,
тошнотворный
дух зажариваемых мяс.
Сына?
Отца?
Матери?
Дочери?
Чья?!
Чья в людоедстве очередь?!

Помощи не будет!
Отрезаны снегами.
Помощи не будет!
Воздух пуст.
Помощи не будет!
Под ногами
даже глина сожрана,
даже куст.

Нет,
не помогут!
Надо сдаваться.
В 10 губерний могилу вымеряйте!
Двадцать

миллионов!
Двадцать!
Ложитесь!
Вымрите!..

Только одна,
осипшим голосом,
сумасшедшие проклятия метелями меля,
рек,
дорог снеговые волосы
ветром рвя, рыдает земля.

Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!

Сам смотрящий смерть воочию,
еле едящий,
только б не сдох,—
тянет город руку рабочую
горстью сухих крох.

«Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!»
Радио ревет за все границы.
И в ответ
за нелепицей нелепица
сыплется в газетные страницы.

«Лондон.
Банкет.
Присутствие короля и королевы.
Жрущих — не вместишь в раззолоченные
хлевы».

Будьте прокляты!
Пусть
за вашей головою вѣнчанной
из колоний
дикари придут,
питаемые человечиною!
Пусть
горят над королевством
бунтов зарева!
Пусть
столицы ваши
будут выжжены дотла!
Пусть из наследников,
из наследниц варево
варится в коронах-котлах!

«Париж.
Собрались парламентарии.
Доклад о голоде.
Фритиоф Нансен.
С улыбкой слушали.
Будто соловьиные арии.
Будто тѣнора слушали в модном романсе».

Будьте прокляты!
Пусть
во веки
вам
не слышать речи человечьей!
Пролетарий французский!
Эй,
стягивай петлею вместо речи
толщ непроходимых шей!

«Вашингтон.
Фермеры,
доевшие,
допившие
до того,
что лебедками поднимают пузы,
в океане
пшеницу
от излишества топившие,—
топят паровозы грузом кукурузы».

Будьте прокляты!
Пусть
ваши улицы
бунтом будут запружены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке —
по Северной,
по Южной —
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!

«Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хвастаются:
— Патриот!
Русский!»

Будьте прокляты!
Вечное «вон!» им!
Всех отвращая нудным видом,
французского золота преследуемые звоном,
скитайтесь чужбинами Вечным Жидом!
Леса российскийские,
соберитесь все!
Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий.

«Москва.
Жалоба сборщицы:
в «Ампирах» морщатся
или дадут
тридцатирублевку,
вышедшую из употребления в 1918 году».

Будьте прокляты!
Пусть будет так,
чтоб каждый проглоченный
глоток
желудок жѣг!
Чтоб ножницами оборачивался бифштекс сочный,
вспарывая стенки кишок!

Вымерет.
Вымерет 20 миллионов человек!
Именем всех упокоенных тут —
проклятие отныне,
проклятие вовек
от Волги отвернувшим морд толстоту.
Это слово не к жирному пузу,
это слово не к царскому трону,—

в сердце таком
слова ничего не тронут:
трогают их революций штыком.

Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,
силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!
Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!
Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!
Пожар всесветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны
в этот час расплаты!

1922

МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мне российская делегация вверена.
Я —
самозванец на конференции Генуэзской.

Дипломатическую вежливость товарища Чичерина
дополню по-моему —
просто и резко.
Слушай!
Министерская компанийка!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойные вижу —
паника
трясет лихорадкой ваши сердца.
Неужели
без смеха
думать в силе,
что вы
на конференцию
нас пригласили?
В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежных склоняя под красное знамя,
трудом сгибаясь в фабричной копоти,—
мы знали —
заставим разговаривать с нами.
Не просьбой просителей язык замер,
не нищие, жмурающиеся от господского света,—
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами
грядущую
Мировую Федерацию Советов.
Болтают язычишки газетных строк:
«Испытать их сначала...»
Хватили лишку!
Не вы на испытание даете срок —
а мы на время даем передышку.
Лишь первая фабрика взвила дым —
враждой к вам
в рабочих
вспыхнули души.
Слюной ли речей пожары вражды

на конференции
нынче
затушим?!
Долги наши,
каждый медный грош,
считают «Матэны»,
считают «Таймсы».
Считаться хотите?
Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем,
о расстрелянном,
о заколоте
память на каждой крымской горе.
Какими пудами
какого золота
оплатите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке — Урал спросите!
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?
Вонзите в Волгу ваше зрение:
разве этот
голодный ад,
разве это
мужицкое разорение —
не хвост от ваших войн и блокад?
Пусть
кладбищами голодной смерти
каждый из вас протащится сам!
На каком —
на железном, что ли, эксперте
не встанут дыбом волоса?

Не защититесь пунктами резолюций-плотин.
Мировая —
ночи пальбой веселя —
революция будет —
и велит:
«Плати
и по этим российским векселям!»
И розовые краснеют мало-помалу.
Тише!
Не дыша!
Слышите
из Берлина
первый шаг
трех Интернационалов?
Растя единство при каждом ударе,
идем.
Прислушайтесь —
вздрагивает здание.

Я кончил.
Милостивые государи,
можете продолжать заседание.

1922

ПАРИЖ

(РАЗГОВОРЧИКИ С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ)

Обшаркан миллионом ног.
Ишелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,

до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовьяков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde ¹.
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкой умáяна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
— Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят! —
луна — гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
— Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?

¹ Площадь Согласия (фр.).

Башня —
мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место — место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоят
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.

Я поднимаю рельсовый бунт.
Бойтесь?
Трактиры заступятся стаями?
Бойтесь?
На помощь придет Рив-гош ¹.
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся
враз с парижских боков.
Мосты забунтуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,

¹ Левый берег (фр.).

у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блесенье стали,
в дымах —
мы встретим вас.
Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
— каждой! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто
за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Париж франтих и дур,
Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складбищась Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев.
Вперед!
Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башня, —
нынче же вставляйте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!

К нам!
 К нам, в СССР!
 Идемте к нам —
 я
 вам достану визу!

1923

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,
 выклеен правительственный бюллетень.

Нет!
 Не надо!
 Разве молнии велишь
 не литься?

Нет!
 не оковать язык грозы!
 Вечно будет
 тысячестраничный
 грохотать
 набатный
 ленинский язык.

Разве гром бывает немостою болен?!
 Разве сдержишь смерч,
 чтоб вихрем не кипел?!

Нет!
 не ослабеет ленинская воля
 в миллионосильной воле РКП.

Разве жар
 такой
 термометрами меряется?!

вперед!
 Но этого мало.
Полкáми
 по пóлкам книжным,
чтоб буквы
 и то смяло.
Мысль
 засеем
 и выжнем.
Вперед!
 Но этого мало.
Через самую
 высочайшую высь
махни атакующим валом.
Новым
 чувством
 мысль
будоражь!
 Но и этого мало.
Ковром
 вселенную взвей.
Моль
 из вселенной
 выбей!
Вели
 лететь
 левой
всей
 вселенской
 глыбе!

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть —
не сметь!

Строит,
 рушит,
 кроит
 и рвет,
тихнет,
 кипит
 и пенится,
гудит,
 говорит,
 молчит
 и ревет —
юная армия:
 ленинцы.

Мы
 новая кровь
 городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
 нить.

Ленин —
 жил,
Ленин —
 жив,
Ленин —
 будет жить.

Залили горем.
 Свезли в мавзолей
частицу Ленина —
 тело.

Но тленью не взять —
 ни земле,
 ни золе —
первейшее в Ленине —
 дело.

Смерть,
 косу положи!
Приговор лжив.
С таким
 небесам
 не блажить.

Ленин —
 жил.
Ленин —
 жив.
Ленин —
 будет жить.

Ленин —
 жив
 шаганьем Кремля —
вождя
 капиталовых пленников.
Будет жить,
 и будет
 земля
гордиться именем:
 Ленинка.

Еще
 по миру
 пройдут мятежи —
сквозь все межи
коммуне
 путь проложить.

Ленин —
 жил.
 Ленин —
 жив.
 Ленин —
 будет жить.

К сведению смерти,
 старой карги,
 гонящей в могилу
 и старящей:
 «Ленин» и «Смерть» —
 слова-враги.
 «Ленин» и «Жизнь» —
 товарищи.

Тверже
 печаль держи.
 Грудью
 в горе прилив.

Нам —
 не ныть.

Ленин —
 жил.

Ленин —
 жив.

Ленин —
 будет жить.

Ленин рядом.
 Вот
 он.

Идет
 и умрет с нами.

И снова
 в каждом рожденном рожден —

как сила,
 как знание,
 как знамя.

Земля,
 под ногами дрожи.

За все рубежи
слова —
 взвивайтесь кружить.

Ленин —
 жил.

Ленин —
 жив.

Ленин —
 будет жить.

Ленин ведь
 тоже
 начал с азов,—

жизнь —
 мастерская геньина.

С низа лет,
 с класса низов —

рвись
 разгромядяться в Ленина.

Дрожите, дворцов этажи!

Биржа нажив,
будешь

битая
 вить.

Ленин —
 жил.

Ленин —
 жив.

Ленин —
 будет жить.

Ленин
 больше
 самых больших,
но даже
 и это
 диво
создали всех времен
 малыши —
мы,
 малыши коллектива.
Мускул
 узлом вяжи.
Зубы-ножи —
в знанье —
 вонзай крошить.
Ленин —
 жил.
Ленин —
 жив.
Ленин —
 будет жить.

Стронт,
 рушит,
 кront
 и рвет,
тихнет,
 кипит
 и пенится,
гудит,
 молчит,
 говорит
 и ревет —
юная армия:
 ленинцы.

Мы
 новая кровь
 городских жил,
 тело нив,
 ткацкой идей
 нить.
 Ленин —
 жил.
 Ленин —
 жив.
 Ленин —
 будет жить.

31 марта 1924 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
 разрешите представиться.
 Маяковский.

Дайте руку!
 Вот грудная клетка.
 Слушайте,
 уже не стук, а стон;
 тревожусь я о нем,
 в щенка смирённом львенке.
 Я никогда не знал,
 что столько
 тысяч тонн
 в моей
 позорно легкомыслой головенке.

Я тащу вас.
 Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
 Больно?
 Извините, дорогой.
У меня,
 да и у вас,
 в запасе вечность.
Что нам
 потерять
 часок-другой?!Будто бы вода —
 давайте
 мчать, болтая,
будто бы весна —
 свободно
 и раскованно!
В небе вон
 луна
 такая молодая,
что ее
 без спутников
 и выпускать рискованно.
Я
 теперь
 свободен
 от любви
 и от плакатов.
Шкурой
 ревности медведь
 лежит когтист.
Можно
 убедиться,
 что земля поката,—

Например,
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы ¹
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами,—
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.

¹ Красные и белые звезды (англ.).

— Дескать,
 муж у вас
 дурак
 и старый мерин,
я люблю вас,
 будьте обязательно моя,
я сейчас же
 утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я.—
Было всякое:
 и под окном стояние,
письма,
 тряски нервное желе.
Вот
 когда
 и горевать не в состоянии —
это,
 Александр Сергенч,
 много тяжелей.
Айда, Маяковский!
 Маячь на юг!
Сердце
 рифмами вымучь —
вот
 и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
 не старость этому нмя!
Тушу
 вперед стремя
я
 с удовольствием
 справлюсь с двоими,
а разозлить —
 и с тремя.

Говорят —
 я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
 Entre nous...¹
 чтоб цензор не нацыкал.
 Передам вам —
 говорят —
 видалн
 даже
 двух
 влюбленных членов ВЦИКа.
 Вот —
 пустили сплетню,
 тешат душу ею.
 Александр Сергееч,
 да не слушайте ж вы их!
 Может
 я
 один
 действительно жалею,
 что сегодня
 нету вас в живых.
 Мне
 при жизни
 с вами
 сговориться б надо.
 Скоро вот
 и я
 умру
 и буду нем.
 После смерти
 нам
 стоять почти что рядом:

¹ Между нами (фр.).

вы на Пе,

а я

на эМ.

Кто меж нами?

с кем велите знаться?!

Чересчур.

страна моя

поэтами нищá.

Между нами

— вот беда —

позатесался Нádсон.

Мы попросим,

чтоб его

куда-нибудь

на Ща!

А Некрасов

Коля,

сын покойного Алеши,—

он и в карты,

он и в стих,

и так

неплох на вид.

Знаете его?

вот он

мужик хороший.

Этот

нам компания —

пускай стоит.

Что ж о современниках?!

Не просчитались бы,

за вас

полсотни óтдав.

От зевоты

скулы

разворачивает аж!

Дорогойченко,
 Герасимов,
 Кириллов,
 Родов —
 какой
 одноробразный пейзаж!
 Ну Есенин,
 мужиковствующих свора.
 Смех!
 Коровою
 в перчатках лаечных.
 Раз слушаешь...
 но это ведь из хора!
 Балалаечник!
 Надо,
 чтоб поэт
 и в жизни был мастак.
 Мы крепки,
 как спирт в полтавском штофе.
 Ну, а что вот Безыменский?!
 Так...
 ничего...
 морковный кофе.
 Правда,
 есть
 у нас
 Асеев
 Колька.
 Этот может.
 Хватка у него
 моя.
 Но ведь надо
 заработать сколько!
 Маленькая,
 но семья.

Бойтесь пушкинистов.
 Старомозгий Плюшкин,
 перышко держа,
 полезет
 с перержавленным.
 — Тоже, мол,
 у лефов
 появился
 Пушкин.
 Вот арап!
 а состязается —
 с Державиным...

Я люблю вас,
 но живого,
 а не мумию.

Навели
 хрестоматийный глянец.

Вы
 по-моему
 при жизни
 — думаю —

тоже бушевали.

Африканец!

Сукин сын Дантес!

Великосветский шкода.

Мы б его спросили:

— А ваши кто родители?

Чем вы занимались

до 17-го года? —

Только этого Дантеса бы и видели.

Впрочем,

что ж болтанье!

Спиритизма вроде.

Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...

Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.

Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.

Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.

Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.

Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы памятник при жизни
полагается по чину.

Заложил бы
динамиту— ну-ка,
дрызнь!

Ненавижу
 всяческую мертвечину!
Обожаю
 всяческую жизнь!

1924

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
 в поэтах
 истерика.
Я Терек не видел.
 Большая потеряйка.
Из омнибуса
 вразвалку
сошел,
 поплеывал
 в Терек с берега,
свал ему
 в пену
 палку.
Чего же хорошего?
 Полный развал!
Шумит,
 как Есенин в участке.
Как будто бы
 Терек
 организовал,
проездом в Боржом,
 Луначарский.
Хочу отвернуть
 заносчивый нос

и чувствую:

стыну на грани я,
овладевает

мною
гипноз,

воды

и пены игранье.

Вот башня,

револьвером
небу к виску,

разит

красотою нетроганой.

Поди,

подчини ее

преду искусств —

Петру Семенычу

Когану.

Стою,

и злоба взяла меня,

что эту

дикость и выступления

с такой бездарностью

я

променял

на славу,

рецензии,

диспуты.

Мне место

не в «Красных нивах»,

а здесь,

и не построчно,

а даром

реветь

стараться в голос во весь,

срывая
 струны гитарам.
Я знаю мой голос:
 паршивый тон,
но страшен
 силою ярой.
Кто видывал,
 не усомнится,
 что
я
 был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
 взвинчена хоть,
величественно
 делает пальчиком.
Но я ей
 сразу:
 — А мне начхать,
царица вы
 или прачка!
Тем более
 с песен —
 какой гонорар?!
А стирка —
 в семью копейка.
А даром
 немного дарит гора:
лишь воду —
 поди,
 попей-ка! —
Взъярилась царица,
 к кинжалу рука.
Козой,
 из берданки ударенной.

Но я ей
 по-своему,
 вы ж знаете как —
 под ручку...
 любезно...
 — Сударыня!
 Чего кипятитесь,
 как паровоз?
 Мы
 общей лирики лента.
 Я знаю давно вас,
 мне
 много про вас
 говаривал
 некий Лермонтов.
 Он клялся,
 что страстью
 и равных нет...
 Таким мне
 мерещился образ твой.
 Любви я заждался,
 мне 30 лет.
 Полюбим друг друга.
 Попросту.
 Да так,
 чтоб скала
 распостелнялась в пух.
 От черта скраду
 и от бога я!
 Ну что тебе Демон?
 Фантазия!
 Дух!
 К тому ж староват —
 мифология.

Не кинь меня в пропасть,
 будь добра.

От этой ли
 струшу боли я?

Мне
 даже
 пиджак не жаль ободрать,
 а грудь и бока —
 тем более.

Отсюда
 дашь
 хороший удар —
 и в Терек
 замертво треснется.
 В Москве
 больнее спускают...
 куда!

ступеньки считаешь —
 лестница.

Я кончил,
 и дело мое сторона.

И пусть,
 озверев от помарок,
 про это
 пишет себе Пастернак.

А мы...
 соглашайся, Тамара! —

История дальше
 уже не для книг.

Я скромный,
 и я
 бастую.

Сам Демон слетел,
 подслушал,
 и сняк,

если б не было
такой земли —
Москва.

1925

6 МОНАХИНЬ

Воздев
печеные
картошки личек,
черней,
чем негр,
не выдавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
влезло
на борт
парохода «Эспань».

И сзади
и спереди
ровней, чем веревка.

Шали,
как с гвоздика,
с плеч висят,
а лица
обвила
белейшая гофрировка,
как в пасху
гофрируют
ножки поросят.

Пусть заполнится годами
жизни квота —
стоит
только
вспомнить это диво,

раздирает
 рот
 зевота
 шире Мексиканского залива.
 Трезвые,
 чистые,
 как раствор борной,
 вместе,
 эскадром, садятся есть.
 Пообедав, сообща
 скрываются в уборной.
 Одна зевнула —
 зевают шесть.
 Вместо известных
 симметричных мест,
 где у женщин выпуклость,—
 у этих выем:
 в одной выемке —
 серебряный крест,
 в другой — медали
 со Львом
 и с Пием.
 Продрав глазенки
 раньше, чем можно,—
 в раю
 (ужо!)
 отоспятся лишек,—
 оркестром без дирижера
 шесть дорожных
 вынимают
 евангелишек.
 Придешь ночью —
 сидят и бормочут.
 Рассвет в розы —
 бормочут, стервозы!

И днем,
и ночью, и в утра, и в полдни
сидят
и бормочут,
дуры господни.
Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 галош
наденут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулёж.
Мне б
язык испанский!
Я б спросил, взъяренный:
— Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте —
если
люди вы,
то кто ж
тогда
воробы?
А если
вы вороны,
почему вы не летаете?
Агитпропщики!
не лезьте вон из кожи.
Весь земной
обревизуйте шар.

Самый

замечательный безбожник

не придумает

кощунственное шарж!

Радуйся, распятый Иисусе,

не слезай

с гвоздей своей доски,

а вторично явишься —

сюда

не суйся —

всё равно:

повесишься с тоски!

1925

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испанский камень

слепящ и бел,

а стены —

зубьями пил.

Пароход

до двенадцати

уголь ел

и пресную воду пил.

Повел

пароход

окованным носом

и в час,

сопя,

вобрал якоря

и понесся.

Европа

скрылась, мельчась.

Бегут

по бортам

водяные глыбы,

огромные,

как годá.

Надо мною птицы,

подо мною рыбы,

а кругом —

вода.

Недели

грудью своей атлетической —

то работяга,

то в стельку пьян —

вздыхает

и гремит

Атлантический

океан.

«Мне бы, братцы,

к Сахаре подобраться...

Развернись и плюнь —

пароход вниз.

Хочу топлю,

хочу везу.

Выходи сухой —

сварю ухой.

Людей не надо нам —

малы к обеду.

Не трону...

ладно...

пускай едут...»

Волны

будоражить мастера:

детство выплеснут,

другому —

голос милой.

Ну, а мне б
 опять
 знамена простирать!
Вон —
 пошло,
 затарachtело,
 загромило!
И снова
 вода
 присмирела сквозная,
и нет
 никаких сомнений ни в ком.
И вдруг,
 откуда-то —
 черт его знает! —
встает
 из глубин
 воднячий Ревком.
И гвардия капель —
 воды партизаны —
взбираются
 ввысь
 с океанского рва,
до неба метнутся
 и падают заново,
порфиру пены в клочки изодрав.
И снова
 спаялись воды в одно,
волне
 повелев
 разбурлиться вождем.
И прет волница
 с-под тучи
 на дно —

с рабочим китом
и дошкольным китенком
Уже
и луну
положили дорожкой.
Хоть прямо
на пузе,
как по́ суху, лазь.
Но враг не сунется —
в небо
глядит, сторожко
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю —
и всегда одинаков,
любим,
близок мне океан.
Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.

МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь
 не в Толстого, так в толстого,—
ем,
 пишу,
 от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.

Вчера
 океан был злой,
 как черт,
сегодня
 смирней
 голубицы на яйцах.
Какая разница!
 Все течет...
Все меняется.

Есть
 у воды
 своя пора:
часы прилива,
 часы отлива.
А у Стеклова
 вода
 не сходила с пера.
Несправедливо.

Дохлая рыбка
 плывет одна.

Я родился,
 рос,
 кормили соскою,—
 жил,
 работал,
 стал староват...
 Вот и жизнь пройдет,
 как прошли Азорские
 острова.

3 июля 1925 г., Атлантический океан

БЛЕК ЭНД УАЙТ

Если
 Гавану
 окинуть мигом —
 рай-страна,
 страна что надо.
 Под пальмой
 на ножке
 стоят фламинго.
 Цветет
 коларио
 по всей Ведадо.
 В Гаване
 все
 разграничено четко:
 у белых доллары,
 у черных — нет.
 Поэтому
 Вилли
 стоит со щеткой
 у «Энри Клей энд Бок. лимитед».

Много

за жизнь

повымел Вилли —

одних пылиннок

целый лес,—

поэтому

волос у Вилли

вылез,

поэтому

живот у Вилли

влез.

Мал его радостей тусклый спектр:

шесть часов поспать на боку,

да разве что

вор,

портовой инспектор,

кинет

негру

цент на бегу.

От этой грязи скроешься разве?

Разве что

стали б

ходить на голове.

И то

намелн бы

больше грязи:

волосьев тыщи,

а ног —

две.

Рядом

шла

нарядная Прадо.

То звякнет,

то вспыхнет

трехверстный джаз.

к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
«Ай бэг ёр пáрдон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам —
она для негра
с черными усами.

А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».

Такой вопрос
не проходит даром.
Король
из белого
становится желт.

Вывернулся
король
сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
и ушел.

Цвели
 кругом
 чудеса ботаники.
 Бананы
 сплетали
 сплошной кров.
 Вытер
 негр
 о белые подштанники
 руку,
 с носа утершую кровь.
 Негр
 посопел подбитым носом,
 поднял щетку,
 держась за скулу.
 Откуда знать ему,
 что с таким вопросом
 надо обращаться
 в Коминтерн,
 в Москву?

5 июля 1925 г., Гавана

БРОДВЕЙ

Асфальт — стекло.
 Иду и звеню.
 Леса и травинки —
 сбриты.
 На север
 с юга
 идут авеню,
 на запад с востока —
 стриты.

занят
 серьезным
 бизнесом.
 Работа окончена.
 Тело обвей
 в сплошной
 электрический ветер.
 Хочешь под землю —
 бери собвей,
 на небо —
 бери элевейтер.
 Вагоны
 едут
 и дымам под рост,
 и в пятках
 домовых
 трутся,
 и вынесут
 хвост
 на Бруклинский мост,
 и спрячут
 в норы
 под Гудзон.
 Тебя ослепило,
 ты
 осовел.
 Но,
 как барабанная дробь,
 из тьмы
 по темени:
 «Кофе Максвёл
 гуд
 ту ди ласт дроп»¹.

¹ Кофе Максвелл хорош до последней капли (англ.).

если ты
 отвык ненавидеть,—
приезжай
 сюда,
 в Нью-Йорк.
Чтобы, в мили улиц опутан,
в боли игл
 фонарных ежей,
ты прошел бы
 со мной
 лилипутом
у подножия
 их этажей.
Видишь —
 вон
 выгребают мусор —
на объедках
 с детьми пронянчиться,
чтоб в авто,
 обгоняя «бусы»,
ко дворцам
 неслись бриллианщицы.
Загляни
 в окошки в эти —
здесь
 наряд им вышили княжий.
Только
 сталью глушит элевейтер
хрип
 и кашель
 чахотки портняжей.
А хозяин —
 липкий студень —
с мордой,
 вспухшей на радость чирю,

у работницы

щупает груди:

«Кто понравится —

удочерю!

Двести дам

(если сотни мало),

грусть

сгоню

навсегда с очей!

Будет

жизнь твоя —

Кўни-Айланд,

луна-парк

в миллиард свечей».

Уведет —

а назавтра

звѣрья,

волчья банда

бесполох старух

проститутку —

в смолу и в перья,

и опять

в смолу и в пух.

А хозяин

в отеле Пла́за,

через рюмку

и с богом сблизясь,

закатил

в поднебесье глазки:

«Сѣнк'ю

за хороший бизнес!»

Успокойтесь,

вне опасения

ваша трезвость,

нравственность,

дети,

барабаны
 «армий спасения»
вашу
 в мир
 трубят добродетель.

Бог
 на вас
 не разукоризнится:
с вас
 и маме их —
 на платок,
и ему
 соберет для ризницы
божий менаджер,
 поп Платон.
Клоб полиций
 на вас не свалится.

Чтобы ты
 добрел, как кулич,
смотрит сквозь холеные пальцы
на тебя
 демократ Кулидж.
И, елозя
 по небьим сводам
стражем ханжества,
 центов
 и сала,

пялит
 руку
 ваша свобода
над тюрьюю
 .Элис-Айланд.

ВЫЗОВ

Горы злобы

аж ноги гнут.

Даже

шея вспухает зобом.

Лезет в рот,

в глаза и внутрь.

Оседая,

влезает злоба.

Весь в огне.

Стою на Риверсайде.

Сбоку

фордами

штурмуют мрака форт.

Небоскребы

локти скручивают сзади,

впереди

американский флот.

Я смеюсь

над их атакою тройною.

Ники Картеры

мою

недоглядели визу.

Я

полпред стиха —

и я

с моей страной

вашим штатишкам

бросаю вызов.

Если

кроха протухла,

плёснится,

выбрось
весь
прогнивший кус.
Сплюнул я,
не доев й месяца
вашу доблесть,
законы,
вкус.
Посылаю к чертям свинячим
все доллары
всех держав.
Мне бы
кончить жизнь
в штанах,
в которых начал,
ничего
за век свой
не стяжав.
Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбелей,
цинизмом поражен!
Мы целуем
— незаконно! —
над Гудзоном
ваших
длинноногих жен.
День наш
шумен.
И вечер пышен.
Шлите
сыщиков
в шелки слушать.

Пьем,
 плюя
 на ваш прогибишен,
 ежедневную
 «Белую лошадь».

Вот и я
 стихом побрататься
 прикатил и вбиваю мысли,
 не боящиеся депортаций:
 ни сослать их нельзя
 и не выселить.

Мысль
 сменяют слова,
 а слова —
 дела,

и, глядишь,
 с небоскребов города,
 раскачав,
 в мостовые
 вбивают тела —

Вандерлипов,
 Рокфеллеров,
 Фордов.

Но пока
 доллар
 всех поэм родовей.

Обирая,
 лапя,
 хапая,
 выступает,
 порфирой надев Бродвей,
 капитал —
 его препохабие.

развозит
с фабрики
сахар лавочник,—
то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальной милей,
живьем в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет
окончание света —
планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоящие
ящеры,

так
 с этим мостом
 столетий геолог
 сумел
 воссоздать бы
 дни настоящие.
 Он скажет:
 — Вот эта
 стальная лапа
 соединяла
 моря и прерии,
 отсюда
 Европа
 рвалась на Запад,
 пустив
 по ветру
 индейские перья.
 Напомнит
 машину
 ребро вот это —
 сообразите,
 хватит рук ли,
 чтоб, став
 стальной ногой
 на Мангётен,
 к себе
 за губу
 притягивать Бруклин?
 По проводам
 электрической пряди —
 я знаю —
 эпоха
 после пара —

здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки
по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам.—
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.

Бруклинский мост —
да...

Это вещь!

1925

ДОМОЙ!

Уходите, мысли, восвояси.

Обнимись,

души и моря глубь.

Тот,

кто постоянно ясен,—

тот,

по-моему,

просто глуп.

Я в худшей каюте

из всех кают —

всю ночь надо мною

ногами куют.

Всю ночь,

покой потолка возмутив,

несется танец,

стонет мотив:

«Маркита,

Маркита,

Маркита моя,

зачем ты,

Маркита,

не любишь меня...»

А зачем

любить меня Марките?!

У меня

и франков даже нет.

А Маркиту
 (толечко моргните!)
 за сто франков
 препроводят в кабинет.
 Небольшие деньги —
 поживи для шику —
 нет,
 интеллигент,
 взбивая грязь вихров,
 будешь всучивать ей
 швейную машинку,
 по стежкам
 строчащую
 шелка стихов.
 Пролетарии
 приходят к коммунизму
 низом —
 низом шахт,
 серпов
 и вил,—
 я ж
 с небес поэзин
 бросаюсь в коммунизм,
 потому что
 нет мне
 без него любви.
 Все равно —
 сослался сам я
 или послан к маме —
 слов ржавеет сталь,
 чернеет баса медь.
 Почему
 под иностранными дождями
 вымокать мне,
 гнить мне
 и ржаветь?

Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тягот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спеца
получало
любовищу сердце.
Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.

С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

1925

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.

класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?

Класс — он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов —

стали б
содержанием
премного одарённой.

Вы бы
в день
писали
строк по сто́,

утомительно
и длинно,
как Доронин.

А по-моему,
осуществись
такая бредь,

на себя бы
раньше наложили руки.

Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!

Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.

В холм
 тупые рифмы
 загонять колом —
 разве так
 поэта
 надо бы почтить?
 Вам
 и памятник еще не слит,—
 где он,
 бронзы звон
 или гранита грань? —
 а к решеткам памяти
 уже
 понанесли
 посвящений
 и воспоминаний дрянь.
 Ваше имя
 в платочки рассоплено,
 ваше слово
 слюнявит Собинов
 и выводит
 под березкой дохлой —
 «Ни слова,
 о дру-уг мой,
 ни вздо-о-о-о-ха».

Эх,
 поговорить бы иначе
 с этим самым
 с Леонидом Лоэнгринычем!
 Встать бы здесь
 гремящим скандалистом:
 — Не позволю
 мямлить стих
 и мять! —

Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
раздувая
темень
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало передела.
Дела много —
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал

путь,
 чтобы протоптанней
 и легче?
 Слово —
 полководец
 человеческой силы.
 Марш!
 Чтоб время
 сзади
 ядрами рвалось.
 К старым дням
 чтоб ветром
 относило
 только
 путаницу волос.
 Для веселия
 планета наша
 мало оборудована.
 Надо
 вырвать
 радость
 у грядущих дней.
 В этой жизни
 помереть
 не трудно.
 Сделать жизнь
 значительно трудней.

1926

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
 Простите за беспокойство.
 Спасибо...
 не тревожьтесь...
 я постою...

У меня к вам
дело
деликатного свойства:

о месте
поэта
в рабочем строю.

В ряду
имеющих
лабазы и уголья

и я обложен
и должен караться.

Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие

и двадцать пять
за неподачу деклараций.

Труд мой
любому
труду
родствен.

Взгляните —
сколько я потерял,

какие
издержки
в моем производстве

и сколько тратится
на материал.

Вам,
конечно, известно
явление «рифмы».

Скажем,
 строчка
 окончилась словом
 «отца»,
и тогда
 через строчку,
 слога повторив, мы
ставим
 какое-нибудь:
 ламцадрица-ца́.
Говоря по-вашему,
 рифма —
 вексель.
Учесть через строчку! —
 вот распоряжение.
И ищешь
 мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
 клонений
 и спряжений.
Начнешь это
 слово
 в строчку всовывать,
а оно не лезет —
 нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
 честное слово,
поэту
 в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
 рифма —
 бочка.
Бочка с динамитом.
 Строчка —
 фитиль.

рядом
 с тлением
 слова-сырца.

Эти слова
 приводят в движение
тысячи лет
 миллионов сердца.

Конечно,
 различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
 легкость руки!

Тянет,
 как фокусник,
 строчку изо рта
и у себя
 и у других.

Что говорить
 о лирических кастратах?!

Строчку
 чужую
 вставит — и рад.

Это
 обычное
 воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
 сегодня
 стихи и оды,
в аплодисментах
 ревомяе ревямя,

войдут
 в историю
 как накладные расходы

на сделанное

нами —

двумя или тремя.

Пуд,

как говорится,

соли столовой

съешь

и сотней папирос клуби,

чтобы

добыть

драгоценное слово

из артезианских

людских глубин.

И сразу

ниже

налога рост.

Скиньте

с обложенья

нуля колесо!

Рубль девяносто

сотня папирос,

рубль шестьдесят

столовая соль.

В вашей анкете

вопросов масса:

— Были выезды?

Или выездов нет? —

А что,

если я

десяток пегасов

загнал

за последние

15 лет?!

У вас —

в мое положение войдите —

я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и — знаю — не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
— один! —
в непролазном долгу.
Долг наш —
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипенье.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на горе
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед Бродвейской лампией,
перед вами,
багдадские небеса,

перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.
А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы — целясь рифмой
и ритмом яриться?
Слово поэта —
ваше воскресение,
ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.
Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!
И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в энкапез
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет!
Но сила поэта
не только в этом,

что, вас

вспоминая,

в грядущем икнут.

Нет!

И сегодня

рифма поэта —

ласка,

и лозунг,

и штык,

и кнут.

Гражданин фининспектор,

я выплачу пять,

все

нули

у цифры скрестя!

Я

по праву

требую пядь

в ряду

беднейших

рабочих и крестьян.

А если

вам кажется,

что всего делов —

это пользоваться

чужими словесами,

то вот вам,

товарищи,

мое стило,

и можете

писать

сами!

Каждый поет

по своему
голоску!

Разрежем

общую курицу славы
и каждому

выдадим
по равному куску.

Бросим

друг другу
шпильки подсовывать,

разведем

изысканный
словесный ажур.

А когда мне

товарищи
предоставят слово —

я это слово возьму

и скажу:

— Я кажусь вам

академиком
с большим задом,

один, мол, я

жрец
поэзий непролазных.

А мне

в действительности
единственное надо —

чтоб больше поэтов

хороших
и разных.

Многие

пользуются
напостобовской тряскою,

с тем

чтоб себя

обозвать получше.

— Мы, мол, единственные,

мы пролетарские...—

А я, по-вашему, что —

валютчик?

Я

по существу

мастеровой, братцы,

не люблю я

этой

философии нудовой.

Засучу рукавчики:

работать?

драться?

Сделай одолжение,

а ну, давай!

Есть

перед нами

огромная работа —

каждому человеку

нужное стихачество.

Давайте работать

до седьмого пота

над поднятием количества,

над улучшением качества.

Я меряю

по коммуне

стихов сорта,

в коммуны

душа

потому влюблена,

что коммуна,
 по-моему,
 огромная высота,
что коммуна,
 по-моему,
 глубочайшая глубина.
А в поэзии
 нет
 ни друзей,
 ни родных,
по протекции
 не свяжешь
 рифм лычки.
Оставим
 распределение
 орденов и наградных,
бросим, товарищи,
 наклеивать ярлычки.
Не хочу
 похвастать
 мыслью новенькой,
но по-моему —
 утверждаю без авторской спеси
коммуна —
 это место,
 где исчезнут чиновники
и где будет
 много
 стихов и песен.
Стоит
 изумиться
 рифмочек парой нам —
мы
 почитаем поэта гением.

Одного
называют
красным Байроном,
другого —
самым красным
Гейнем.

Одного боюсь —
за вас и сам,—
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.

Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.

Если
вы не за нас,
а мы
не с вами,

то черта ль
нам
остаётся делать?

А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,

я
 больше вашего
 рифмы строгал.
 Товарищи,
 бросим
 замашки торгашьи
 — моя, мол, поэзия —
 мой лабаз! —
 всё, что я сделал,
 все это ваше —
 рифмы,
 темы,
 дикция,
 бас!
 Что может быть
 капризной славы
 и пепельней?
 В гроб, что ли,
 брать,
 когда умру?
 Наплевать мне, товарищи,
 в высшей степени
 на деньги,
 на славу
 и на прочую муру!
 Чем нам
 делить
 поэтическую власть,
 сгрудим
 нежность слов
 и слова-бичи,
 и давайте
 без завистей
 и без фамилий
 власть

Будто на́век
 за собой
 из битвы коридоровой
тянешь след героя,
 светел и кровав.
В коммунизм из книжки
 верят средне.

«Мало ли,
 что можно
 в книжке намолоть!»

А такое —
 оживит внезапно «бредни»
и покажет
 коммунизма
 естество и плоть.

Мы живем,
 зажатые
 железной клятвой.

За нее —
 на крест,
 и пулю чешите:

это —
 чтобы в мире
 без Россий,
 без Латвий,

жить единым
 человечьим общежитьем.

В наших жилах —
 кровь, а не водица.

Мы идем
 сквозь револьверный лай,
чтобы,
 умирая,
 воплотиться

Поскулил
 и снова засигналил:
 — Кто-нибудь,
 пришлите табачку!..
 Скучно здесь,
 нехорошо
 и мокро.
 Здесь
 от скуки
 отсыреет и броня...—
 Дремлет мир,
 на Черноморский округ
 синь-слезищу
 морем оброня.

1926

НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!

Мне б хотелось
 про Октябрь сказать,
 не в колокол названивая,
 не словами,
 украшающими
 тепленький уют,—
 дать бы
 революции
 также же названия,
 как любимым
 в первый день дают!
 Но разве
 уместно
 слово такое?

Но разве
настали
дни для покоя?
Кто галоши приобрел,
кто зонтик;
радуется обыватель:
«Небо голубб...»
Нет,
в такую ерунду
не рассказёньте
боевую
революцию — любовь.

В сотне улиц
сегодня
на вас,
на меня
упадут огнем знамена.
Будут глотки греметь,
за кордоны катя
огневые слова про Октябрь.

Белой гвардии
для меня
белей
ния мертвое: юбилей.
Юбилей — это пепел,
песок и дым;
юбилей —
это радость седым;
юбилей —
это край
кладбищенских ям;

это речи
 и фирмам;
 остановка предсмертная,
 вздохи,
 елей —
 вот что лезет
 из букв
 «ю-б-и-л-е-й».

А для нас
 юбилей —
 ремонт в пути,
 постоял —
 и дальше гуди.
 Остановка для вас,
 для вас
 юбилей —

а для нас
 подсчет рублей.
 Сбереженный рубль —
 сбереженный заряд,
 поражающий вражеский ряд.
 Остановка для вас,
 для вас
 юбилей —

а для нас —
 это сплавы лей.
 Разобьет
 врага
 электрический ход
 лучше пушек
 и лучше пехот.

Юбилей!
 А для нас —
 подсчет работ,
 перемеренный литрами пот.

Знаем:

в графиках

довоенных норм

коммунизма одежда и корм.

Не горюй, товарищ,

что бой измельчал:

— Глаз на мелочь! —

приказ Ильича.

Надо

в каждой пылинке

будить уметь

большевистского пафоса медь.

Зорче глаз крестьянина и рабочего,

и минуту

не будь рассеянной!

Будет:

под ногами

заколеблется почва

почище японских землетрясений.

Молчит

перед боем,

топки глуша,

Англия бастующих шахт.

Пусть

китайский язык

мудрен и велик,—

знает каждый и так,

что Кантон

тот же бой ведет,

что в Октябрь вели

наш

рязанский

Иван да Антон.

Цветисты бочка́

из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.

Стихов навезите целый мешок,
с таланта

можете лопаться —
в ответ

снисходительно cedят смешок
уста

украинца-хлопца.

Пространства бегут,

с хвоста нарастав,
их жарит

солнце-кухарка.

И поезд

уже

бежит на Ростов,
далёко за дымный Харьков.

Поля —

на мильоны хлебных тонн —
как будто

их гладят рубанки,
а в хлебной охре

серебряный Дон
блестит

позументом кубанки.

Ревем паровозом до хрипоты,
и вот

началось кавказское —
то го́ловы сахара высят хребты,
то в солнце —

пожарной каскою.

Лечу

ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седíны.

Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят

из седла
осетины.

Верх

гор —
лед,

низ

жар
пьет,

и солнце льет йод.

Тифлисцев

узнаешь и метров за сто:

гуляют часами жаркими,

в моднейших шляпах,

в ботинках носастых,

эткими парижакими.

По-своему

всякий

зубрит азы,

аж цифры по-своему снятся им.

У каждого третьего —

свой язык

и собственная нация.

Однажды,

забросив в гостиницу хлам,

забыл,

где я ночую.

Я

адрес

по-русски

спросил у хохла,

хохол отвечал:

— Не чую.—

Я —
 дедом казак,
 другим —
 сечевик,
а по рождению
 грузин.
Три
 разных капли
 в себе совмещав,
беру я
 право вот это —
покрыть
 всесоюзных совмещан.
И ваших
 и русопетов.

1927

ЛУЧШИЙ СТИХ

Аудитория
 сыплет
 вопросы колючие,
старается озадачить
 в записочном рвении.
— Товарищ Маяковский,
 прочтите
 лучшее
ваше
 стихотворение.—
Какому
 стиху
 отдать честь?
Думаю,
 упершись в стол.

Может быть,
 это им прочесть,
 а может,
 прочесть то?
 Пока
 перетряхиваю
 стихотворную старь
 и нем
 ждет
 зал,
 газеты
 «Северный рабочий»
 секретарь
 тихо
 мне
 сказал...
 И гаркнул я,
 сбившись
 с поэтического тона,
 громче
 нерихонских хайл:
 — Товарищи!
 Рабочими
 и войсками Кантона
 взят
 Шанхай! —
 Как будто
 жесть
 в ладонях мнут,
 оваций сила
 росла и росла.
 Пять,
 десять,
 пятнадцать минут
 рукоплескал Ярославль.

Казалось,
 буря
 вёрсты крыла,
 в ответ
 на все
 чемберленьи ноты
 катилась в Китай,—
 и стальные рыла
 отворачивали
 от Шанхая
 дредноуты.
 Не приравняю
 всю
 поэтическую слякоть,
 любую
 из лучших поэтических слав,
 не приравняю
 к простому
 газетному факту,
 если
 так
 ему
 рукоплещет Ярославль.
 О, есть ли
 привязанность
 большей силищи,
 чем солидарность,
 прессующая
 рабочий улей?!
 Рукоплещи, ярославец,
 маслобой и текстильщик,
 неизвестным
 и родным
 китайским кули!

Мне
пожалте
грудь тугую.
Ну,
а если
нету этаких...
Мы найдем себе другую
в разызысканной жакетке.—
Припомадясь
и прикрасясь,
эту
гадость
вливши в стих,
хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести.
«За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить».
Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
шел я низом,
строил
мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся
у моста́.

Травка
выросла
у моста,
по мосту
идут овечки,
мы желаем
— очень просто! —
отдохнуть
у этой речки.
Заверните ваше знамя!
Перед нами
ясность вод,
в бок —
цветочки,
а над нами —
мирный-мирный небосвод.
Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венчанного!
Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова:
— Прекратите ваши трели!
Я не знаю,
я стара ли,
но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали.
Знаю я —
в жакетах в этих

на Петровке
бабья банда.
Эти
польские жакетки
к нам
провозят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
индустриальным займом
помогли
рождению
ситцев.
Череп,
што ль,
пустеет чаном,
выбил
мысли
грохот лирный?
Это где же
вы,
Молчанов,
небосвод
узрели
мирный?
В гущу
ваших рóздыхов,
под цветочки,
на реку
заграничным воздухом

не доносит гарьку?
Или
 за любовной блажью
не видать
 угрозу вражью?

Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите —
 вы мешаете
мобилизациям и маневрам.

1927

**РАССКАЗ
ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА
О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ**

Я пролетарий.
 Объясняться лишне.
Жил,
 как мать произвела, родив.
И вот мне
 квартиру
 дает жилищный,
мой,
 рабочий,
 кооператив.
Во — ширина!
 Высота — во!
Проветрена,
 освещена
 и согрета.

Все хорошо.

Но больше всего

мне

понравилось —

это:

это

белее лунного света,

удобней,

чем земля обетованная,

это —

да что говорить об этом,

это —

ванная.

Вода в кране —

холодная крайне.

Кран

другой

не тронешь рукой.

Можешь

холодной

мыть хохол,

горячей —

пот пор.

На кране

одном

написано:

«Хол.»,

на кране другом —

«Гор.».

Придешь усталый,

вешаться хочется.

Ни щи не радуют,

ни чая клокотанье.

А чайкой поплещешься —

и мертвый расхохочется

от этого
 плещущего щекотания.
Как будто
 пришел
 к социализму в гости,
от удовольствия —
 захватывает дых.
Брюки на крюк,
 блузу на гвоздик,
мыло в руку
 и...
 бултых!
Сядешь
 и моешься
 долго, долго.
Словом,
 сидишь,
 пока охота.
Просто
 в комнате
 лето и Волга —
только что нету
 рыб и пароходов.
Хоть грязь
 на тебе
 десятилетнего стажа,
с тебя
 корою с дерева,
чуть не лыком,
 сходит сажа,
смывается, стерва.
И уж распаришься,
 разжаришься уж!
Тут —
 вертай ручки:

и каплет
 прохладный
 дождик-душ
 из дырчатой
 железной тучки.
 Ну ж и ласковость в этом душе!
 Тебя
 никакой
 не возьмет упадок:
 погладит волосы,
 потреплет уши
 и течет
 по желобу
 промежду лопаток.
 Воду
 стираешь
 с мокрого тельца
 полотенцем,
 как зверь, мохнатым.
 Чтобы суше пяткам —
 пол
 стелется,
 извиняюсь за выражение,
 пробковым матом.
 Себя разглядевши
 в зеркало вправленное,
 в рубаху
 в чистую —
 влазь.
 Влажу и думаю:
 «Очень правильная
 эта,
 наша,
 Советская власть».
Свердловск, 28 января 1928 г.

СЛУЖАКА

Появились
 молодые
превоспитанные люди —
Мопров
 знаки золотые
им
 увенчивают груди.
Парт-комар
 из МКК
не подточит
 парню
 носа:
к сроку
 вписана
 строка
проф-
 и парт-
 и прочих взносов.
Честен он,
 как честен вол.
В место
 в собственное
 вросся
и не видит
 ничего
дальше .
 собственного носа.
Коммунизм
 по книге сдав,
перевызубривши «измы»,
он
 покончил навсегда

с мыслями
о коммунизме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
сиди
и жди.
— Нам, мол,
с вами
думать неча,
если
думают вожди.—
Мелких дельцев
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежно,
узколобо.
День — этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам,—
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,

к цели
 намеченной
 шаг.
 Не наши —
 которые
 времени в зад
 уперли
 лбов
 медь;
 быть коммунистом —
 значит дерзать,
 думать,
 хотеть,
 смуть.
 У нас
 еще
 не Эдем и рай —
 мещанская
 тина с цвелью.
 Работая,
 мелочи соразмеряй
 с огромной
 поставленной целью.

1928

ТРУС

В меру
 и черны и русы,
 пряча взгляды,
 пряча вкусы,
 боком,
 тенью,
 в стороне,—
 пресмыкаются трусы

за начальством
 ходит сзади,
чтоб, услышав
 ихнье
 мнение,
завтра
 это же сказать им.
Если ж
 старший
 сменит мнение,
он
 усвоит
 мненье старшино:
— Мненье —
 это не именье,
потерять его
 не страшно.—
Хоть грабьте,
 хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
 ни вой.
«Наше дело
 маленькое —
я сам по себе
 не великий немой,
и рот
 водою
 наполнен мой,
вроде
 умывальника я».
Трус
 оброс
 бумаг
 корою.

«Где решать?!

Другие пусть.

Вдруг не выйдет?

Вдруг покроют?

Вдруг

возьму

и ошибусь?»

День-деньской

сплетает тонко

узы

самых странных свадеб —

увязать бы

льва с ягненком,

с кошкой

мышь согласовать бы.

Весь день

сердечко

ужас кройт,

предлогов для трепета —

кипа.

Боятся автобусов

и Эркаи,

начальства,

жены

и гриппа.

Месткома,

домкома,

просящих взаимы,

кладбища,

милиции,

леса,

собак,

погоды,

сплетен,

зимы

и
показательных процессов.
Подрожит
 и ляжет житель,
дрожью
 ночь
 корежит тело...

Товарищ,
 чего вы дрожите?
В чем,
 собственно,
 дело?!

В аквариум,
 что ли,
 сажать вас?
Революция требует,
 чтобы имелась
смелость,
 смелость
 и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.

1928

ЕВПАТОРИЯ

Чуть вздыхает волна,
 и, вторя ей,
ветерок
 над Евпаторией.

Ветерки эти самые
рыскают,
глядят
щеку евпаторийскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовыми
евпаторийцами.
Скрип уключин,
всплески
и крики —
развлекаются
евпаторийки.
В дым черны,
в тубетейках ярких
караимы
евпаторьяки.
И, сравнясь,
загорают рьяней
москвичи —
евпаторьяне.
Всюду розы
на ножках тонких.
Радуются
евпаторёнки.
Все болезни
выжмут
горячие
грязи
евпаторячьи.
Пуд за лето
с любого толстого
соскребет
евпаторство.

кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудеж,
на романы
разбазаривает.
Разве
это молодость?
Нет!
Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!

СТОЛП

Товарищ Попов
 чуть-чуть не от плуга.
 Чуть
 не от станка
 Он — и сохи.
 даже партиец,
 но он
 брюзжит перепуган,
 баритоном сухим:
 «Раскроешь газетину —
 в критике вся,—
 любая
 колеблется
 глыба.
 Кроют.
 Кого?
 Аж волосья
 встают
 от фамилий
 дыбом.
 Ведь это —
 подрыв,
 подкоп ведь это...
 Критику
 остороженько
 должно вести.
 А эти —
 критикуют,
 не щадя авторитета,
 ни чина,
 ни стажа,
 ни должности.

Критика
 снизу —
 это яд.
Сверху —
 вот это лекарство!
Ну, можно ль
 позволить
 низам,
 подряд,
всем! —
 заниматься критиканством?!
О мерзостях
 наших
 трубим и поем.
Иди
 и в газетах срамись я!
Ну, я ошибся...
 Так в тресте ж,
 в моем,
имеется
 ревизионная комиссия.
Ведь можно ж,
 не задевая столпов,
в кругу
 своих,
 братишек,—
вызвать,
 сказать:
 — Товарищ Попов,
орудуй...
 тово...
 потеше...—
Пристали
 до тошноты,
 до рвот...

Обмазывают

кистью густою.

Товарищи,

ведь это же ж

подорвет

государственные устои!

Кого критикуют? —

вопит, возомня,

аж голос

визжит

тенорком.—

Вчера —

Иванова,

сегодня —

меня,

а завтра —

Совнарком!»

Товарищ Попов,

оставьте скулеж.

Болтовня о подрывах —

ложь!

Мы всех зовем,

чтоб в лоб,

а не пятясь,

критика

дрянь

косила.

И это

лучшее из доказательств

нашей

чистоты и силы.

Клад его —

его талант:

нежный

способ

обхожденья.

Лижет ногу,

лижет руку,

лижет в пояс,

лижет ниже,—

как кутенок

лижет

суку,

как котенок

кошку лижет.

А язык?!

На метров тридцать

догонять

начальство

вылез —

мыльный весь,

аж может

бриться,

даже

кисточкой не мылась.

Все похвалит,

впавши

в раж,

что

фантазия позволит —

ваш катар,

и чин,

и стаж,

вашу доблесть

и мозоли.

И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равнение.
Где-то
будто
вручены
чуть ли не —
бразды правленья.
Раз
уже
в руках вожжа,
всех
сведя
к подлизным взглядам,
расклюявит:
«Уважать,
уважать
начальство
надо...»
Мы
глядим,
уныло ахая,
как растет
от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
над демократией.
Вея шваброй
верхом,
низом,

сместь бы
 всех,
 кто поддались,
всех,
 радеющих подлизам,
всех
 радетельских подлиз.

1928

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
 сказала,
 взглянув на верблюда:
«Какая
 гигантская
 лошадь-ублюдок».

Верблюд же
 вскричал:
 «Да лошадь разве ты?!
Ты
 просто-напросто —
 верблюд недоразвитый».

И знал лишь
 бог седобородый,
что это —
 животные
 разной породы.

1928

ПИСЬМО ТОВАРИЦУ КОСТРОВУ
ИЗ ПАРИЖА
О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
 меня,
 товарищ Костров,
с присущей
 душевной ширью,
что часть
 на Париж отпущенных строф
на лирику
 я
 растранжирю.
Представьте:
 входит
 красавица в зал,
в меха
 и бусы оправленная.
Я
 эту красавицу взял
 и сказал:
— правильно сказал
 или неправильно? —
Я, товарищ, —
 из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
 девиц красивей,
я видал
 девиц стройнее.
Девушкам
 поэты любы.
Я ж умен
 и голосист,

заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью ранен —
еле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать,—
тридцать...
с хвостиком.
Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут угольями,
а в том,
что встает за горами грудей

над
волосами-джунглями.
Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьею,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Ивановны,
считая
своим
соперником.
Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.
Вы
к Москве
порвали нить.

Годы —
 расстояние.
Как бы
 вам бы
 объяснить
это состояние?
На земле
 огней — до неба...
В синем небе
 звезд —
Если б я до черта.
 поэтом нé был,
я бы
 стал бы
 звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу;
 стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
 авто
 по улице,
а не свалят нáземь.
Понимают
 умницы:
человек —
 в экстазе.
Сонм видений
 и идей
полон
 до крышки.
Тут бы
 и у медведей
выросли бы крылышки.

И вот
 с какой-то
 грошовой столовой,
 когда
 докипело это,
 из зева
 до звезд
 взвывается слово
 золоторожденной кометой.
 Распластан
 хвост
 небесам на треть,
 блестит
 и горит оперенье его,
 чтоб двум влюбленным
 на звезды смотреть
 из ихней
 беседки сиреновой.
 Чтоб подымать,
 и вести,
 и влечь,
 которые глазом ослабли.
 Чтоб вражь
 голова
 спиливать с плеч
 хвостатой
 сияющей саблей.
 Себя
 до последнего стука в груди,
 как на свиданье,
 простаивая,
 прислушиваюсь:
 любовь загудит —

собакам
 озверевшей страсти.
Ты одна мне
 ростом вровень,
стань же рядом
 с бровью брови,
дай
 про этот
 важный вечер
рассказать
 по-человечьи.
Пять часов,
 и с этих пор
стих
 людей
 дремучий бор,
вымер
 город заселенный,
слышу лишь
 свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
 молний поступь,
гром
 ругней
 в небесной драме,—
не гроза,
 а это
 просто
ревность
 двигает горами.
Глупых слов
 не верь сырю,
не пугайся
 этой тряски,—

я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
ненссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы...
ну их! —
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста миллионам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямяшь не многих,—

вы и нам
 в Москве нужны,
не хватает
 длинноногих.
Не тебе,
 в снега
 и в тиф
шедшей
 этими ногами,
здесь
 на ласки
 выдать их
в ужины
 с нефтяниками.
Ты не думай,
 щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
 иди на перекресток
моих больших
 и неуклюжих рук.
Не хочешь?
 Оставайся и зимой,
и это
 оскорбление
 на общий счет нанижем.
Я все равно
 тебя
 когда-нибудь возьму —
одну
 или вдвоем с Парижем.

целая
 лента типов
 тянется.

Кулаки
 и волокитчики,
 подхалимы,
 сектанты
 и пьяницы,—

ходят,
 гордо
 выпятив груди,
 в ручках сплошь
 и в значках нагрудных...

Мы их
 всех,
 конешно, скрутим,
 но всех
 скрутить
 ужасно трудно.

Товарищ Ленин,
 по фабрикам дымным,
 по землям,
 покрытым
 и снегом
 и жнивьем,

вашим,
 товарищ,
 сердцем
 и именем

думаем,
 дышим,
 боремся
 и живем!...»

Грудой дел,
 суматохой явлений

день отошел,
постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

1929

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете
парижских женщин
с шей разжемчуженной,
разбриллиантенной
рукой...

Бросьте представлять себе!
Жизнь —
жестче —

у моей парижанки
вид другой.

Не знаю, право,
молода
или стара она,

до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.

Служит
она
в уборной ресторана —
маленького ресторана —
Гранд-Шомьер.

хочу
сказать
мадмуазели:
— Мадмуазель,
ваш вид,
извините,
жалок.

На уборную молодость
губить не жалко вам?

Или
мне
наврали про парижанок,
или
вы, мадмуазель,
не парижанка.

Выглядите вы
туберкулезно
и вяло.

Чулки шерстяные...
Почему не шелка?

Почему
не шлют вам
пармских фиалок
благородные мусью
от полного кошелька? —

Мадмуазель молчала,
грохот наваливал
на трактир,
на потолок,
на нас.

Это,
кружа
веселье карнавалово,
весь
в парижанках
гудел Монпарнас.

Ногти —
 в глянце.
 Крашенные губки
 розой убиганятся.
 Ретушь —
 у глаза.
 Оттеняет синь его.
 Спины
 из газа
 цвета лососиньего.
 Упадая
 с высоты,
 пол
 метут
 шлейфы.
 От такой
 красоты
 сторонитесь, рефы.
 Повернет —
 в брильянтах уши.
 Пошевелится шала —
 на грудинке
 ряд жемчужин
 обнажают
 шиншиля.
 Платье —
 пухом.
 Не дыши.
 Аж на старом
 на морже
 только фай
 да крепдешин,
 только
 облако жоржет.
 Брошки — блещут...
 на тебе! —

с платья
 с полуголога.
 Эх,
 к такому платью бы
 да еще бы...
 голову.

1929

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
 выгрыз
 бюрократизм.
 К мандатам
 почтения нету.
 К любым
 чертям с матерями
 катись
 любая бумажка.
 Но эту...
 По длинному фронту
 купе
 и кают
 чиновник
 учтивый
 движется.
 Сдают паспорта,
 и я
 сдаю
 мою
 пурпурную книжицу.
 К одним паспортам —
 улыбка у рта.

Что вам дать?

Автограф?

Чтиво?

— Нет.

Мерси вас.

Я —

писатель.

— Вы?

Писатель?

Извините.

Думал —

вы пижон.

А вы...

Что ж,

прочтите,

зазвоните

грозным

маршем

боевым.

Вихрь идей

у вас,

должно быть.

Новостей

у вас

вагон.

Что ж,

пожалте в уха в оба.

Рад товарищу.—

А он:

— Я писатель.

Не прозаик.

Нет.

Я с музами в связи.—

Слог
 изыскан, как борзая.
 Сконапель
 ля поэзі¹.
 На затылок
 нежным жестом
 он
 кудрей
 закинул шелк,
 стал
 барашком златошерстым
 и заблеял,
 и пошел.
 Что луна, мол,
 над долиной,
 мчит
 ручей, мол,
 по ущелью.
 Тинтидликал
 мандиной,
 дундудел виолончелью.
 Нимб
 обвил
 волосьев копны.
 Лоб
 горел от благородства.
 Я терпел,
 терпел
 и лопнул
 и ударил
 лапой
 об стол.

¹ То, что называют поэзией (*фр.* ce qu'on appelle la poésie).

кто напишет
 марш
 и лозунг!

1929

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строитель-ных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.

Из разговора

По небу
 тучи бегают,
 дождями
 сумрак сжат,
 под старую
 телегою
 рабочие лежат.
 И слышит
 шепот гордый
 вода
 и под
 и над:
 «Через четыре
 года
 здесь
 будет
 город-сад!»

Темно свинцовоночие,
и дождик
 толст, как жгут,
сидят
 в грязи
 рабочие,
сидят,
 лучину жгут.
Сливеют
 губы
 с холода,
но губы
 шепчут в лад:
«Через четыре
 года
здесь
 будет
 город-сад!»
Свела
 проmozглость
 корчею —
неважный
 мокр
 уют,
сидят
 впотьямах
 рабочие,
подмокший
 хлеб
 жуют.
Но шепот
 громче голода —
он кроет
 капель
 спад:

«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
восламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».

Рос
 шепоток рабочего
 над темью
 тучных стад,
 а дальше
 неразборчиво,
 лишь слышно —
 «город-сад».
 Я знаю —
 город
 будет,
 я знаю —
 саду
 цвезть,
 когда
 такие люди
 в стране
 в советской
 есть!

1929

МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД

Вперед
 тракторами по целине!
 Домны
 коммуне
 подступом!
 Сегодня
 бейся, революционер,
 на баррикадах
 производства.

Раздувай
коллективную
грудь-меха,
лозунг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как
гвозди,
вбивай
лампы!
Шаг держи!
Не теряй темп!
Перегнуть
пятилетку
нам бы.
Распрабабкиной техники
скидывай хлам.
Днепр,
турбины
верти по заводьям.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед!
Коммуну
из времени
вод

от цехов
 к ударным заводам.
 Энтузиазм,
 разрастайся и длись
 фабричным
 сиянием радужным.
 Сейчас
 подымается социализм
 живым,
 настоящим,
 правдошным.
 Этот лозунг
 неси
 бряцаньем стиха,
 размалюй
 плакатным разводом.
 От ударных бригад
 к ударным цехам,
 от цехов —
 к ударным заводам.

1930

СТИХИ ДЕТЯМ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Крошка сын
 к отцу пришел,
 и спросила кроха:
 — Что такое
 хорошо

и что такое
 плохо? —
У меня
 секретов нет,—
слушайте, детишки,—
папы этого
 ответ
помещаю
 в книжке.

— Если ветер
 крыши рвет,
если
 град загрохал,—
каждый знает —
 это вот
для прогулок
 плохо.

Дождь покапал
 и прошел.
Солнце
 в целом свете.
Это —
 очень хорошо
и большим
 и детям.

Если
 сын
 чернее ночи,
грязь лежит
 на рожице,—

ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
— Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!

Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрюта говорят:
плоховатый мальчик.

Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.

Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.

Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свиненок.

Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать *хорошо*
и не буду —
плохо».

1925

ВОЗЬМЕМ ВИНТОВКИ НОВЫЕ

Возьмем винтовки новые,
на штык флажки!
И с песнею
в стрелковые

пойдем кружки.
Раз,
 два!
Все
 в ряд!
Впе-
 ред,
от-
 ряд.
Когда
 война-метелица
придет опять —
должны уметь мы целиться,
уметь стрелять.
Ша-
 гай
кру-
 че!
Цель-
 ся
луч-
 ше!
И если двинет армии
страна моя —
мы будем
 санитарами
во всех боях.
Ра-
 нят
в ле-
 су,
к сво-
 им
сне-
 су.

Бесшумною разведкою —
тиха нога —
за камнем

и за веткою

найдем врага.

Пол-

зу

день,

ночь

мо-

им

по-

мочь.

Блестят винтовки новые,

на них

флажки.

Мы с песнею

в стрелковые

идем кружки.

Раз,

два!

Под-

ряд!

Ша-

гай,

от-

ряд!

1927

КЕМ БЫТЬ?

У меня растут года,

будет и семнадцать.

Где работать мне тогда,

чем заниматься?

Нужные работники —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сначала

мы

берем бревно
и пилим доски
длинные и плоские.

Эти доски

вот так

зажимает

стол-верстак.

От работы

пила

раскалилась добела.

Из-под пилки

сыплются опилки.

Рубанок

в руки —

работа другая:

сучки, закорюки

рубанком стругаем.

Хороши стружки —

желтые игрушки.

А если

нужен шар нам

круглый очень,

на станке токарном

круглое точим.

Готовим понемножку

то ящик,

то ножку.

Сделали вот столько

стульев и столиков!

Столяру хорошо,
а инженеру —
лучше,
я бы строить дом пошел,
пусть меня научат.
Я
сначала
начерчу
дом
такой,
какой хочу.
Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание
славное,
живое словно.
Это будет
перёд,
называется фасад.
Это
каждый разберет —
это ванна,
это сад.
План готов,
и вокруг
сто работ
на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.
Где трудна работка,
там
визжит лебедка;
подымает балки,
будто палки.

Вам
в постельку лечь
поспать бы,
вам —
компрессик на живот,
и тогда
у вас
до свадьбы
все, конечно, заживет. —

Докторам хорошо,
а рабочим —
лучше,
я б в рабочие пошел,
пусть меня научат.

Вставай!

Иди!

Гудок зовет,

и мы приходим на завод.
Народа — уйма целая,
тысяча двести.
Чего один не сделает —
сделаем вместе.

Можем

железо

ножницами резать,
краном висящим
тяжести ташим;
молот паровой
гнет и рельсы травой.
Олово плавим,
машинами правим.
Работа всякого
нужна одинаково.

Кондукторам

езда везде.

С большою сумкой кожаной
ему всегда,

ему весь день

в трамваях ездить можно.

— Большие и дети,

берите билетик,

билеты разные,

бери любые —

зеленые,

красные

и голубые.—

Ездим рельсами.

Окончилась рельса,

и слезли у леса мы,

садись

и грейся.

Кондуктору хорошо,

а шоферу —

лучше,

я б в шоферы пошел,

пусть меня научат.

Фырчит машина скорая,

летит, скользя,

хороший шофер я —

сдержать нельзя.

Только скажите,

вам куда надо —

без рельсы

жителей

доставлю на дом.

Е-
дем,
ду-
дим:
«С пу-
ти
уй-
ди!»

Быть шофером хорошо,
а летчиком —
лучше,
я бы в летчики пошел,
пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
«В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели».
Бояться не надо
ни дождя,
ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору
облетаю гору.
«Вези, мотор,
чтоб нас довез
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звезд
совсем отдалены».

Летчику хорошо,
а матросу —
лучше,
я б в матросы пошел,
пусть меня научат.
У меня на шапке лента,
на матроске

якоря.

Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете —
морской дорожкой
на реях и по мачте
карабкаюсь кошкой.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная,
открою

полюс

Южный,

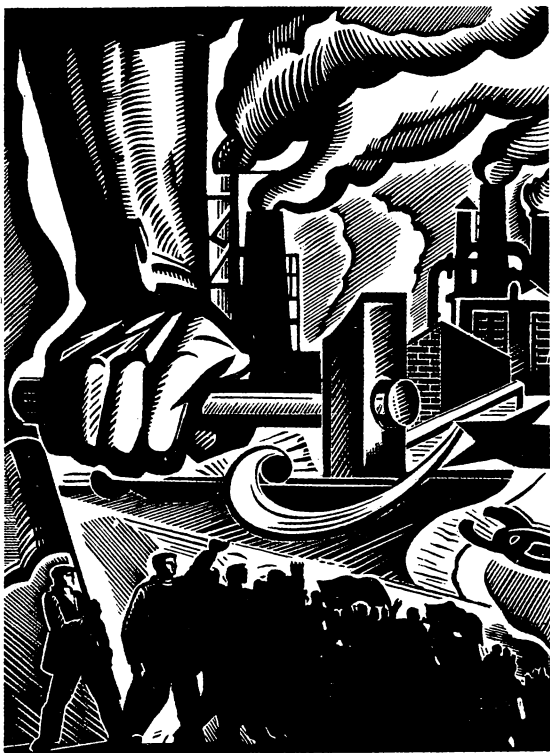
а Северный —

наверное.

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!

1928

ПОЭМЫ



ОБЛАКО В ШТАНАХ

ТЕТРАПТИХ

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изыдеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостинной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —

буду от мяса бешеный

— и, как небо, меняя тона —

хотите —

буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!

Мною опять славословятся

мужчины, залежанные, как больница,

и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.

Девять.

Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибора.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала,—
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,—
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,

маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится,—
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты, резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть»,—
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.

Что же!

И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?

«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».

Помните!

Погибла Помпея,
когда раздражили Везувий!

Эй!

Господа!

Любители
святотатств,
преступлений,
боев,—

а самое страшное

видели —

лицо мое,

когда

я

абсолютно спокоен?

И чувствую —

«я»

для меня малó.

Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!

Кто говорит?

Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,—
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,—
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»¹.

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —

¹ «ничто» (лат.).

прежде чем начнет петься,
 долго ходят, размолов от брожения,
 и тихо барахтаются в тине сердца
 глупая вобла воображения.
 Пока выкипячивают, рифмами пиликают,
 из любвей и соловьев какое-то варево,
 улица корчится безъязыкая —
 ей нечем кричать и разговаривать.
 Городов вавилонские башни,
 возгордясь, возносим снова,
 а бог
 города на пашни
 рушит,
 мешая слово.

Улица мýку молча пёрла.
 Крик торчком стоял из глотки.
 Топоршились, застрявшие поперек горла,
 пухлые taxi¹ и костлявые пролетки.
 Грудь испешеходили.
 Чахотки плоче.

Город дорогу мраком запер.

И когда —
 все-таки! —
 выхаркнула давку на площадь,
 спихнув наступившую на горло паперть,
 думалось:
 в хóрах архангелова хорала
 бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
 «Идемте жрать!»

¹ такси (фр.).

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщъ,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
цәннее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стена,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!

Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу,—
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне —
люди,
и те, что обидели,—
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде:
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня

надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещицы
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи,
и облачное прочее

подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небе лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путях,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закившие в блохастом грязненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!

Пушкой земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!

Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршню обрызганных предательством звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеv.

Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы —
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человеческом месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,

потертые в сорокгодовой таске,—
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!

Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?

Пусти, Мария!

Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.

На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натканы

в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!

Не бойся,

что у меня на шее воловьей

потноживотые женщины мокрой горою сидят,—

это сквозь жизнь я тащу

миллионы огромных чистых любовей

и миллион миллионов маленьких грязных любят.

Не бойся,

что снова,

в измены ненастье,

прильну я к тысячам хорошеньких лиц,—

«любящие Маяковского!» —

да ведь это ж династия

на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить.
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
переехannую поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на́ ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно

в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобрившие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи,—
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я наташу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из северской муки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова,—

отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всеильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
вправе ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914—1915

ЛЮБЛЮ

ОБЫКНОВЕННО ТАК

Любовь любому рожденному дадена,—
но между служб,
доходов
и прочего
со дня нá день
очерствеваает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело — рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.

МАЛЬЧИШКОЙ

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людые
трусами муштровано.
А я —
убег на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать..
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатом под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не заноеет.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!»
А тоже —
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стоверстым скалам?!»

ЮНОШЕЙ

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болючьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазнаются.
«Чего — мол — стоят лученышки эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы — все на свете.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Французский знаете.
Делите.
Множьте.

Склоняете чуждо.

Ну и склоняйте!

Скажите —

а с домом спеться
можете?

Язык трамвайский вы понимаете?

Птенец человеческий,

чуть только вывелся —

за книжки рукой,
за тетрадные дести.

А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.

Землю возьмут,

обкорнав,
ободрав ее —

учат.

И вся она — с крохотный глобус.

А я

боками учил географию —

недаром же

наземь

ночевкой хлопаюсь!

Мутят Иловайских большие вопросы:

— Была ль рыжа борода Барбароссы? —

Пускай!

Не копаюсь в пропыленном вздоре я —

любая в Москве мне известна история!

Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —

фамилья ж против,

скулит родовая.

Я

жирных

с детства привык ненавидеть,

всегда себя

за обед продавая.

Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбенками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.

ВЗРОСЛОЕ

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
Меня
Москва душила в объятьях

кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстную площадью лежа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только весен,
за 20 лет в распаленного ввалено!
Их груз нерастраченный — просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

ЧТО ВЫШЛО

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —

комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно слажен —
и все же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться —
некуда, кажется — полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

ЗОВУ

Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как села
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —

не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом,—
дамье
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго бы...»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат ребровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

ТЫ

Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.

«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница!
Должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

НЕВОЗМОЖНО

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладем в несгораемый».
Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,

если захочется очень,
 улыбку возьму,
 пол-улыбки
 и мельче,
 с другими кутя,
 потрачу в полночи
 рублей пятнадцать лирической мелочи.

ТАК И СО МНОЙ

Флоты — и то стекаются в гавани.
 Поезд — и то к вокзалу гонит.
 Ну, а меня к тебе и подавней
 — я же люблю! —
 тянет и клонит.
 Скупой спускается пушкинский рыцарь
 подвалом своим любоваться и рыться.
 Так я
 к тебе возвращаюсь, любимая.
 Мое это сердце,
 люблюсь моим я.
 Домой возвращаетесь радостно.
 Грязь вы
 с себя соскребаете, бреясь и моясь.
 Так я
 к тебе возвращаюсь,—
 разве,
 к тебе идя,
 не иду домой я?!

Земных принимает земное лоно.
 К конечной мы возвращаемся цели.
 Так я
 к тебе
 тянусь неуклонно,

еле расстались,
развиделись еле.

ВЫВОД

Не смоят любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкоперстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

1922

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

*Российской
коммунистической партии
посвящаю*

Время —
 начинаю
 про Ленина рассказ.
Но не потому,
 что горя
 нету более,
время
 потому,
 что резкая тоска
стала ясной
 осознанною болью.
Время,
 снова
 ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
 растекаться
 слезной лужею,—
Ленин
 и теперь
 живее всех живых.

не скажу
ни одному —
на место сядь.

Как бедна
у мира
сло́ва мастерская!

Подходящее
откуда взять?

У нас
семь дней,
у нас
часов — двенадцать.

Не прожить
себя длинней.

Смерть
не умеет извиняться.

Если ж
с часами плохо,
мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».

Мы
спим
ночь.

Днем
совершаем поступки.

Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.

А если
за всех смог

направлять
 потоки явлений,
 мы говорим —
 «пророк»,
 мы говорим —
 «гений».
 У нас
 претензий нет,—
 не зовут —
 мы и не лезем;
 нравимся
 своей жене,
 и то
 довольны донельзя.
 Если ж,
 телом и духом слит,
 прет
 на нас непохожий,
 спилим —
 «царственный вид»,
 удивляемся —
 «дар божий».
 Скажут так,—
 и вышло
 ни умно, ни глупо.
 Повисят слова
 и уплывут, как дымы.
 Ничего
 не выколупишь
 из таких скорлупок.
 Ни рукам,
 ни голове не ощутимы.
 Как же
 Ленина
 таким аршином мерить!

Землю
 всю
 охватывая разом,
видел
 то,
 что временем закрыто.
Он, как вы
 и я,
 совсем такой же,
только,
 может быть,
 у самых глаз
мысли
 больше нашего
 морщинят кожей,
да насмешливей
 и тверже губы,
 чем у нас.
Не сатрапья твердость,
 триумфаторской коляской
мнущая
 тебя,
 подергивая вожжи.
Он
 к товарищу
 милел
 людскую лаской.
Он
 к врагу
 вставал
 железа тверже.
Знал он
 слабости,
 знакомые у нас,

кто из вас
 из сел,
 из кожи вон,
 из штолен
не шагнет вперед?!
В качке —
 будто бы хватил
 вина и горя лишку —
инстинктивно
 хоронюсь
 трамвайной сети.

Кто
 сейчас
 оплакал бы
 мою смертишку
в трауре
 вот этой
 безграничной смерти!
Со знаменами идут,
 и так.
 Похоже —

стала
 вновь
 Россия кочевой.
И Колонный зал
 дрожит,
 насквозь прохожен.

Почему?
 Зачем
 и отчего?
Телеграф
 охрип
 от траурного гуда.

объявляет
покоренной
силу деревенщины.
Город грабил,
греб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвивая трубы за небо:
— Нами
к золоту
пути мостите.
Мы родим,
пошлем,
придет когда-нибудь
человек,
борец,
каратель,
мститель! —
И уже
смешались
облака и дымы,
будто
рядовые
одного полка.
Небеса
становятся двойными,
дымы
забивают облака.

Товары
 растут,
 меж нищими высясь.
 Директор,
 лысый черт,
 пощелкал счетами,
 буркнул:
 «кризис!»
 и вывесил слово
 «расчет».
 Кра́пило
 сласти
 мушиное сеево,
 хлеба́
 зерном
 в элеваторах портятся,
 а под витринами
 всех Елисеевых,
 живот подведя,
 плелась безработица.
 И бурчало
 у трущоб в утробе,
 покрывая
 детворинный плачик:
 — Под работу,
 под винтовку ль,
 на́ —
 ладони обе!

Приходи,
 заступник
 я расплатчик! —
 Эй,
 верблюду,
 открыватель колоний!

Эй,
 колонны стальных кораблей!
 Марш
 в пустыни
 огня раскаленной!
 Пеньте пену
 бумаги белей!
 Начинают
 черным лататься
 оазисы
 пальмовых нег.
 Вон
 среди
 золотистых плантаций
 засеченный
 вымычал негр:
 — У-у-у-у-у,
 у-у-у!
 Нил мой, Нил!
 Приплещи
 и выплещи
 черные дни!
 Чтоб чернее были,
 чем я во сне,
 и пожар чтоб
 крови вот этой красней.
 Чтоб во всем этом кофе,
 враз вскипелом,
 вариться пузатым —
 черным и белым.
 Каждый
 добытый
 слоновий клык —
 тык его в мясо,
 в сердце тык.

Для внуков
пишу
в один лист
капитализма
портрет родовой.
Капитализм
в молодые года
был ничего,
деловой парнишка:
первый работал —
не боялся тогда,
что у него
от работ
засалится манишка.
Трико феодальное
ему тесно!
Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвел
и даже
подпевал «Марсельезу».
Машину
он
задумал и выдумал.
Люди
и те — ей!
Он
по вселенной
видимо-невидимо
рабочих расплодил
детей.

Он враз
 и царства
 и графства сжевал
 с коронами их
 и с орлами.
 Встучнел,
 как библейская корова
 или вол,
 облизывается.
 Язык — парламент.
 С годами
 ослабла
 мускулов сталь,
 он раздобрел
 и распух,
 такой же
 с течением времени
 стал,
 как и его гроссбух.
 Дворец возвел —
 не увидишь такого!
 Художник
 — не один! —
 по стенам поерзал.
 Пол ампиристый,
 потолок рококо́вый,
 стенки —
 Людовика XIV,
 Каторза.
 Вокруг,
 с лицом,
 что равно годится
 быть и лицом
 и ягодицей,

Обдряб
 и лег
 у истории на пути
 в мир,
 как в свою кровать.
 Его не объехать,
 не обойти,
 единственный выход —
 взорвать!

Знаю,
 лирик
 скривится горько,
 критик
 ринется
 хлыстиком выстегать:
 — А где ж душа?!
 Да это ж —
 риторика!

Поэзия где ж?
 Одна публицистика!! —
 Капитализм —
 неизящное слово,
 куда изящней звучит —
 «соловей»,
 но я
 возвращусь к нему
 снова и снова.

Строку
 агитаторским лозунгом взвей!
 Я буду писать
 и про то
 и про это,
 но нынче
 не время
 любовных ляс.

Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.
Пролетариат —
неуклюже и узко
тому,
кому
коммунизм — западня.
Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мертвых
сражаться поднять.
Этажи
уже
заёжились, дрожа,
клич подвалов
подымается по этажам:
— Мы прорвемся
небесам
в распахнутую синь.
Мы пройдем
сквозь каменный колодец.
Будет.
С этих нар
рабочий сын —
пролетариатоводец.—
Им
уже
земного шара мало.

вам
и вашинской войне
войну! —

Вырастают
на земле
слезы озёра,
слишком
непролазны
крови топи.

И клонились
одиночки-фантазеры
над решением
немыслимых утопий.

Голову
об жизнь
разбили филантропы.

Разве
путь миллионам —
филантропов тропы?

И уже
бессилен
сам капиталист,

так
его
машина размахалась,—
строй его
несет,
как пожелтый лист,
кризисов
и забастовок хаос.

— В чей карман
стекаем
золотою лавой?

С кем идти
и на кого пенять? —

Класс миллионоглавый

напрягает глаз —

себя понять.

Время

часы

капитала

кράло,

побивая

прожекторов яркость.

Время

родило

брата Карла —

старший

ленинский брат

Маркс.

Маркс!

Встает глазам

седин портретных рама.

Как же

жизнь его

от представлений далека!

Люди

видят

замурованного в мрамор,

гипсом

холодеющего старика.

Но когда

революционной тропкой

первый

делали

рабочие

шажок,

о, какой

невероятной топкой

сердце Маркс
и мысль свою зажег!
Будто сам
в заводе каждом
стоя сто́йма,
будто
каждый труд
размозоливая лично,
грабящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,
Маркс
повел
разить
войною классовой
золотого,
до быка
доросшего тельца́.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны
только
волны случая
закинут
нас
юля́.
Маркс
раскрыл
истории законы,

и коммуны
 флаг
 над красною Москвой.
Назревали,
 зрели дни,
 как дыни,
пролетариат
 взрослел
 и вырос из ребят.
Капиталовы
 отвесные твердыни
валом размывают
 и дробят.
У каких-нибудь
 годов
 на расстоянии
сколько гроз
 гудит
 от нарастаний.
Завершается
 восстанием
 гнева нарастание,
нарастают
 революции
 за вспышками восстаний.
Крут
 буржуев
 озверевший норов.
Тъерами растерзанные,
 воя и стеная,
тени прадедов,
 парижских коммунаров,
и сейчас
 вопят
 парижскою стеною:

— Слушайте, товарищи!
Смотрите, братья!

Горе одиночкам —
выучтесь на нас!

Сообща взрывайте!
Бейте партией!

Кулаком
одним
собрав
рабочий класс.—

Скажут:
«Мы вожди»,
а сами —
шаркунами?

За речами
шкуру
распознать умей!

Будет вождь
такой,
что мелочами с нами —

хлеба проще,
рельс прямей.

Смесью классов,
вер,
сословий
и наречий

на рублях колес
землища двигалась.

Капитал
ежом противоречий
рос всюду
и креп,
штыками иглясь.

Коммунизма
 призрак
 по Европе рыскал,
уходил
 и вновь
 маячил в отдаленьи...
По всему по этому
 в глуши Симбирска
родился
 обыкновенный мальчик
 Ленин.

 Я знал рабочего.
 Он был безграмотный.
Не разжевал
 даже азбуки соль.
Но он слышал,
 как говорил Ленин,
и он
 знал — всё.
Я слышал
 рассказ
 крестьянина-сибирца.
Отобрали,
 отстояли винтовками
 и раем
 разделали селеньеце.
Они не читали
 и не слышали Ленина,
но это
 были ленинцы.
Я видел горы —
 на них
 и куст не рос.

Голько
 тучи
 на скалы
 упали ничком.
 И на сто верст
 у единственного горца
 лохмотья
 сияли
 ленинским значком.

Скажут —
 это
 о булавках áхи.
 Барышни их
 вкалывают
 из кокетливых причуд.
 Не булавка вколота —
 значком
 прожгло рубахи

сердце,
 полное
 любовью к Ильичу.

Этого
 не объяснишь
 церковными славянскими крюками,

и не бог
 ему
 велел —
 избранник будь!

Шагом человеческим,
 рабочими руками,
 собственною головой
 прошел он
 этот путь.

Сверху
 взгляд
 на Россию брось —
рассинелась речками,
 словно
разгулялась
 тысяча розг,
словно
 плетью исполосована.
Но синей,
 чем вода весной,
синяки
 Руси крепостной.

Ты
 с боков
 на Россию глянь —
и куда
 глаза ни кинь,
упираются
 небу всклянь
горы,
 каторги
 и рудники.
Но и каторг
 больнее была
у фабричных станков
 кабала.

Были страны
 богатые более,
красивее видал
 и умней.

Но земли
 с еще большей болью

не довиделось

видеть

мне:

Да, не каждый

удар

сотрешь со щеки.

Крик крепчал:

— Подымайтесь

за землю и волю вы! —

И берутся

бунтовщики-

одиночки

за бомбу

и за револьвер.

Хорошо

в царя

вогнать обойму!

Ну, а если

только пыль

взметнешь у колеса?!

Подготовщиком

цареубийства

брат Ульянова,

пойман

народоволец

Одного убьешь —

Александр.

другой

во весь свой пыл

пытками

ушедших

переплюнуть тужится.

И Ульянов

Александр

повешен был

тысячным из шлиссельбуржцев.

И тогда
 сказал
 Ильич семнадцатигодовый —
это слово
 крепче клятв
 солдатом поднятой руки:
— Брат,
 мы здесь
 тебя сменить готовы,
победим,
 но мы
 пойдем путем другим! —
Оглядите памятники —
 видите
 героев род вы?
Станет Гоголем,
 а ты
 венком его величь.
Не такой —
 чернорабочий,
 ежедневный подвиг
на́ плечи себе
 взвалил Ильич.
Он вместе,
 учит в кузничной пасти,
как быть,
 чтоб зарплата
 взросла пятаком.
Что делать,
 если
 дерется мастер.
Как быть,
 чтоб хозяин
 поил кипятком.

Режет
 молниями
 Ильичевых книжек.

Сыпет
 градом
 прокламаций и летучек.

Бился
 об Ленина
 темный класс,

тек,
 от него
 в просветленьи,
и, обданный
 силой
 и мыслями масс,

с классом
 рос
 Ленин.

И уже
 превращается в быть
то,
 в чем юношей
 Ленин клялся:

— Мы
 не одиночки,
 мы —
 союз борьбы

за освобождение
 рабочего класса.—

Ленинизм идет
 все далее
 и более

вширь
 учениками
 Ильичевой выверки.

Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной Володимирки.
Нынче
нами
шар земной заверчен.
Даже
мы,
в кремлевских креслах если,—
скольким
вдруг
из-за декретов Нерчинск
кандалами
раззвентится в кресле!
Вам
опять
напомню птичий путь я.
За волчком —
трамваев
электрическая рысь.
Кто
из вас
решетчатые прутья
не царапал
и не грыз?!
Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».

И нам
 уже
 не разговорцы досужие,
 что-де свобода,
 что люди братья.
 мы
 в Марксовом всеоружии
 одна
 на мир
 большевистская партия
 Америку
 пересекаешь
 в экспрессном купе,
 идешь Чухломой —
 тебе
 в глаза
 вонзается теперь
 Р К П
 и в скобках
 маленькое «б».
 Теперь
 на Марсов
 охотится Пулково
 перебирая
 небесный ларчик.
 Но миру
 эта
 строчная буква
 в сто крат красней,
 грандиозней
 и ярче.
 Слова
 у нас
 до важного самого

в привычку входят,
ветшают, как платье.

Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».

Единица!
Кому она нужна?!

Голос единицы
тоньше писка.
Кто ее услышит? —
Разве жена!

И то
если не на базаре,
а близко.

Партия —
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихих и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.

Плохо человеку,
когда он один.

Горе одному,
один не воин —
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.

А если
 в партию
 сгрудились малые —
сдайся, враг,
 замри
 и ляг!

Партия —
 рука миллионопалая,
сжатая
 в один
 громящий кулак.

Единица — вздор,
 единица — ноль,
один —
 даже если
 очень важный —
не подымет
 простое
 пятивершковое бревно,
тем более
 дом пятиэтажный.

Партия —
 это
 миллионов плечи,
друг к другу
 прижатые туго.

Партией
 стройки
 в небо взмечем,
держа
 и вздымая друг друга.

Партия —
 спинной хребет рабочего класса.

Партия —
 бессмертие нашего дела.

Падаем,
 царским свинцом косимы.
 Бредня
 о милости царской
 прикончена
 с бойней Мукденской,
 с треском Цусимы.
 Довольно!
 Не верим
 разговорам посторонним!

 Сами
 с оружием
 встали пресненцы.
 Казалось —
 сейчас
 покончим с троном,

 за ним
 и буржуево
 кресло треснетя.
 Ильич уже здесь.
 Он изо дня на́ день
 проводит
 с рабочими
 пятый год.

 Он рядом
 на каждой стоит баррикаде,
 ведет
 всего восстания ход.
 Но скоро
 прошла
 лукавая вестийка —
 «свобода».
 Бантики люди надели,

царь
на балкон
выходил с манифестиком.
А после
«свободной»
медовой недели
речи,
банты
и пения плавные
пушечный рев
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание
царев адмирал,
каратель Дубасов.
Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чекá!
Смотрите,
как здесь,
связавши за локти,
рабочих насмерть
секли по щекам.
Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и всё изгадили.
Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.
Сам заскулил
товарищ Плеханов:

— Ваша вина,
запутали, братцы!
Вот и пустили
крови лохани!
Нечего
зря
за оружие браться.—
Ленин
в этот скулеж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:
— Нет,
за оружие
браться нужно,
только более
решительно и энергично.
Новых восстаний вижу день я.
Снова подыметесь
рабочий класс.
Не защита —
нападение
стать должно
лозунгом масс.—
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане
покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.
И Ленин
снова
в своем изгнании

готовит
 нас
 перед новой битвой.
Он учит
 и сам вбирает знание,
он партию
 вновь
 собирает разбитую.
Смотри —
 забастовки
 вздымают год,
еще —
 и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.
Но вот
из лет
 подымается
 страшный четырнадцатый.
Так пишут —
 солдат-де
 раскурит трубку,
балакать пойдет
 о походах древних,
но эту
 всемирнейшую мясорубку
к какой приравнять
 к Полтаве,
 к Плевне?!

Империализм
 во всем оголении —
живот наружу,
 с вставными зубами,
и море крови
 ему по колени —
сжирает страны,
 вздымая штыками

потом поди,
ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию.
Глоткой орудий,
шипевших и вывших,
друг другу
страны
орут —
на колени!
Додрались,
и вот
никаких победивших —
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истощили
терпенье ангельское.
Ты
восставшею
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.
Империя —
это тебе не кúра!
Клювастый орел
с двухглавою властью.
А мы,
как докуренный окурок,
просто
сплюнули
их династью.
Огромный,
покрытый кровавою ржою,

народ,
 голодный и голоштаный,
к Советам пойдет
 или будет
 буржую
таскать,
 как и встарь,
 из огня каштаны?
— Народ
 разорвал
 оковы царь,
Россия в буре,
 Россия в грозе,—
читал
 Владимир Ильич
 в Швейцарии,
дрожа,
 волнуясь
 над кипой газет.
Но что
 по газетным узнаешь ключьям?
На аэроплане
 прорваться б ввысь,
туда,
 на помощь
 к восставшим рабочим,—
одно желанье,
 единая мысль.
Поехал,
 покорный партийной воле,
в немецком вагоне,
 немецкая пломба.
О, если бы
 знал
 тогда Гогенцоллерн,

что Ленин
и в их монархию бомба!
Питерцы
всё еще
всем на радость
лобзались,
скакали детишками малыми,
но в красной ленточке,
слегка припарадясь,
Невский
уже
кишел генералами.
За шагом шаг —
и дойдут до точки,
дойдут
и до полицейского свиста.
Уже
начинают
казать коготочки
буржуи
из лапок своих пушистых.
Сначала мелочь —
вроде мальков.
Потом повзрослее —
от шпротов до килечек.
Потом Дарданельский,
в девичестве Милюков,
за ним
с коронацией
прет Михайльчик.
Премьер
не власть —
вышивание гладью!

Это
тебе
не грубый нарком.
Прямо девушка —
иди и глядь ее!
Истерики закатывает,
поет тенорком.
Еще
не попало
нам
и росинки
от этих самых
февральских свобод,
а у оборонцев —
уже хворостинки —
«марш, марш на фронт,
рабочий народ».
И в довершение
пейзажа славенького,
нас предававшие
и до
и потóm,
вокруг
сторожами
эсеры да Савинковы,
меньшевики —
ученым котом.
И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик.

И снова
 ветер
 свежий, крепкий
валы
 революции
 поднял в пене.
Литейный
 залили
 блузы и кепки.
«Ленин с нами!
 Да здравствует Ленин!»
— Товарищи! —
 и над головами
 первых сотен
вперед
 ведущую
 руку выставил.
— Сбросим
 эсдечества
 обветшавшие лохмотья.
Долой
 власть
 соглашателей и капиталистов!
Мы —
 голос
 воли низа,
рабочего низа
 всего света.
Да здравствует
 партия,
 строящая коммунизм,
да здравствует
 восстание
 за власть Советов! —

Впервые
 перед толпой обалделой
здесь же,
 перед тобою,
 близ,
встало,
 как простое
 делаемое дело,
недосягаемое слово —
 «социализм».

Здесь же,
 из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
 во весь свод,
встала
 завтрашня
 коммуна трудящихся —
без буржуев,
 без пролетариев,
 без рабов и
 господ.

На толщъ
 окрутивших
 соглашательских веревок
слова Ильича
 ударами топора.

И речь
 прерывало
 обвалами рева:
«Правильно, Ленин!
 Верно!
 Пора!»

Дом
 Кшесинской,
 за дрыгоножество

И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.

Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.

Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.

От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.

В патронных лентах
внизу пулеметчики.

— Вас
вызывает
товарищ Сталин.

и воля нобельца,

и воля путиловца.

Он

в черепе

сотней губерний ворочал,

людей

носил

до миллиардов полутора.

Он

взвешивал

мир

в течение ночи,

а утром:

— Всем!

Всем!

Всем это —

фронтам,

кровью пьяным,

рабам

всякого рода,

в рабство

богатым отданным.—

Власть Советам!

Земля крестьянам!

Мир народам!

Хлеб голодным! —

Буржуи

прочли

— погодите,

выловим,—

животики пятят

доводом веским —

ужо им покажут

Духонин с Корниловым,

и вдруг
ее,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями ее
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.
В очках
манжетщики,
злостью похаркав,
ползли туда,
где царство да графство.
Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!
Мы жили
пока
производством ротаций.
С окопов
летело
в немецкие уши:
— Пора кончать!
Выходите брататься! —
И фронт
расползлся
в улитки теплушек.
Такую ли
течь
загородите горстью?
Казалось —
наша лодчонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористой,

сотрет
Советской страны границы.
Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
ловили бегущих
в свое словоблудьище,
тащили
по-рыцарски
глупой шпажонкой
красиво
сразить
броневые чудища!
Ильич
петушившимся
крикнул:
— Ни с места!

Пусть партия
взвалит
и это бремя.
Возьмем
передышку похабного Бреста.
Потеря — пространство,
выигрыш — время.—
Чтоб не передохнуть
нам
в передышку,
чтоб знал —
запомнят удары мои,
себя
не муштровкой —
сознанием вышколи,
стройся
рядами
Красной Армии.

Историки

с гидрой плакаты выдерут
— чи эта гидра была,
чи нет? —

а мы

знавали

вот эту гидру

в ее

натуральной величине.

«Мы смело в бой пойдем

за власть Советов

и, как один, умрем

в борьбе за это!»

Деникин идет.

Деникина выкинут,

обрушенный пушкой

подымут очаг.

Тут Врангель вам —

на смену Деникину.

Барона уронят —

уже Колчак.

Мы жрали кору,

ночевка — болотце,

но шли

миллионами красных звезд,

и в каждом — Ильич,

и о каждом заботится

на фронте

в одиннадцать тысяч верст.

Одиннадцать тысяч верст

окружность,

а сколько

вдоль да поперек!

Ведь каждый дом

атаковывать нужно,

каждый
врага
в подворотнях берег.
Эсер с монархистом
шпионят бессонно —
где жалят змеей,
где рубят сплеча.
Ты знаешь
путь
на завод Михельсона?
Найдешь
по крови
из ран Ильича.
Эсеры
целят
не очень верно —
другим концом
да себя же
в бровь.
Но бомб страшнее
и пуль револьверных
осада голода,
осада тифбв.
Смотрите —
кружат
над крошками мушки,
сытней им,
чем нам
в осьмнадцатом году,—
простаивали
из-за осьмушки
сутки
в улице
на холоду.

Стальными листами
вздымал
и примеривал
кооперативы,
лавки
и тресты.

И снова
становится
Ленин штурман,
огни по бортам,
вперед и сзади.

Теперь
от абордажей и штурма
мы
перейдем
к трудовой осаде.

Мы
отошли,
рассчитавши точно.

Кто разложился —
на берег
за вóрот.

Теперь вперед!
Отступление окончено.

РКП,
команду на борт!
Коммуна — столетия,
что десять лет для ней?

Вперед —
и в прошлом
скроется нэпчик.

Мы двинемся
во сто раз медленней,

зато
 в миллион
 прочней и крепче.
 Вот этой
 мелкобуржуазной стихии
 еще
 колышется
 мертвая зыбь,
 но, тихие
 тучи
 молнией выев,
 уже —
 нарастаешь
 всемирной грозы.
 Враг
 сменяет
 врага поределого,
 но будет —
 над миром
 зажжем небеса
 — но это
 уже
 полезней проделывать,
 чем
 об этом писать.—
 Теперь,
 если пьете
 и если едите,
 на общий завод ли
 идем
 с обеда,
 мы знаем —
 пролетариат — победитель,
 и Ленин —
 организатор победы.

От Коминтерна

до звонких копеек,
серпом и молотом

в новой меди,

одна

неписаная эпопея —

шагов Ильича

от победы к победе.

Революции —

тяжелые вещи,

один не подынешь —

согнется нога.

Но Ленин

меж равными

был первейший

по силе воли,

ума рычагам.

Подымаются страны

одна за одной —

рука Ильича

указывала верно:

народы —

черный,

белый

и цветной —

становятся

под знамя Коминтерна.

Столпов империализма

непреклонные колонны —

буржуи

пяти частей света,

вежливо

приподымая

цилиндры и короны,

кланяются
 Ильичевой Республике Советов.
 Нам
 не страшно
 усилие ничье,
 мчим
 вперед
 паровозом труда...
 и вдруг
 стопудовая весть —
 с Ильичем
 удар.

 Если бы
 выставить в музее
 плачущего большевика,
 весь день бы
 в музее
 торчали ротозеи.
 Еще бы —
 такое
 не увидишь и в века!
 Пятиконечные звезды
 выжигали на наших спинах
 панские воево
 Живьем,
 по голову в землю,
 закапывали нас банды Мамонтова.
 В паровозных топках
 сжигали нас японцы,
 рот заливали свинцом и оловом,
 отрекитесь! — ревели,
 но из
 горящих глоток
 лишь три слова:

— Да здравствует коммунизм! —
Кресло за креслом,
ряд в ряд
эта сталь,
железо это
вваливалось
двадцать второго января
в пятиэтажное здание
Съезда Советов.
Усаживались,
кидались усмешкою,
решали
пóходя
мелочь дел.
Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
президиум,
как вырубленный, поредел?
Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым?
Держится еле.
Несчастье?
Какое?
Быть не может!
А если с ним?
Нет!
Неужели?
Потолок
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще нагни!

Были люди — кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерьезничались дети,
и, как дети,
плакали седебородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
восставшей
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатеночке Москвы
революции
и сына и отца.
Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло —
и видите под...
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица,
будто рана сквозная —
так болит
и стонет так.

Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.

Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.

Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.

Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца́ ему
ветками елок стели.

Он в битву вел,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.

Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.

Он зѣмли
 велел
 назвать своими,
 что дедам
 в гробах,
 засеченным, снятся.

И коммунары
 с-под площади Красной,
 казалось,
 шепчут:
 — Любимый и милый!

Живи,
 и не надо
 судьбы прекрасней —
 сто раз сразимся
 и ляжем в могилы! —
 Сейчас
 прозвучали б
 слова чудотворца,
 чтоб нам умереть
 и его разбудят,—
 плотина улиц
 враспашку раствóрится,
 и с песней
 на смерть
 ринутся люди.

Но нету чудес,
 и мечтать о них нечего.
 Есть Ленин,
 гроб
 и согнутые плечи.
 Он был человек
 до конца человечьего —

неси
и казись
тоской человечесьей.

Вовек
такого
бесценного груза

еще
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому Союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.

Еще
в караул
вставала в почетный
суровая гвардия
ленинской выправки,

а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.

В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!

Но в эту
холодную,
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.

Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.
Желтое солнце,
косое и лаковое,
взойдет,
лучами к подножью кидается.
Как будто
забитые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.
Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы меняя,
путая даты.
Как будто
не ночь
и не звезды на ней,
а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.

Даже
 от холода
 бить в ладоши
 никто не решается —
 нельзя,
 неуместно.

Мороз хватает
 и тащит,
 как будто
 пытается,
 насколько в любви закаленные.
 Врывается в толпы.
 В давку запутан,
 вступает
 вместе с толпой за колонны.
 Ступени растут,
 разрастаются в риф.

Но вот
 затихает
 дыханье и пенье,
 и страшно ступить —
 под ногою обрыв —
 бездонный обрыв
 в четыре ступени.

Обрыв
 от рабства в сто поколений,
 где знают
 лишь золота звонкий резон.

Обрыв
 и край —
 это гроб и Ленин,
 а дальше —
 коммуна
 во весь горизонт.

Что увидишь?!

Только лоб его лишь,
и Надежда Константиновна
в тумане
за...

Может быть,
в глаза без слез
увидеть можно больше.

Не в такие
я
смотрел глаза.

Знамен
плывущих
склоняется шелк

последней
почестью отданной:

«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь, благородный».
Страх.

Закрой глаза
и не гляди —

как будто
идешь
по проволоке провода.

Как будто
минуту
один на один

остался
с огромной
единственной правдой.

Я счастлив.
Звенящего марша вода
относит
тело мое невесомое.

Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знаменья
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бой —
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и веками алея,
на последнее
прощанье с Ильичем
шли
и медлили у Мавзолея.
Выполняют церемониал.

Говорили речи.

Говорят — и ладно.

Горе вот,

что срок минуты

мал —

разве

весь

охватишь ненаглядный!

Пройдут

и наверх

смотрят с опаской,

на черный,

посыпанный снегом кружок.

Как бешено

скачут

стрелки на Спасской.

В минуту —

к последней четверке прыжок.

Замрите

минуту

от этой вести!

Остановись,

движение и жизнь!

Поднявшие молот,

стыньте на месте.

Земля, замри,

ложись и лежи!

Безмолвие.

Путь величайший окончен.

Стреляли из пушки,

а может, из тыщи.

И эта

пальба

казалась не громче,

чем мелочь,
в кармане бренчащая —
в нищем.

До боли
раскрыв
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.

Встает
предо мной
у знамен в озарении

темный
земной
неподвижный шар.

Над миром гроб,
неподвижен и нем.

У гроба —
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм

размножить то,
что сегодня видели.

Но вот
издалёка,
оттуда,
из алого

в мороз,
в караул умолкнувший наш,
чей-то голос —
как будто Муралова —
«Шагом марш».

Этого приказа
и не нужно даже —

реже,
 ровнее,
 тверже дыша,
 с трудом
 отрывая
 тело-тяжесть,
 с площади
 вниз
 вбиваем шаг.
 Каждое знамя
 твердыми руками

 вновь
 над головою
 взвито ввысь.
 Топота потоп,
 сила кругами,
 ширясь,
 расходится
 миру в мысль.

 Общая мысль
 воедино созвеньена
 рабочих,
 крестьян
 и солдат-рубак:
 — Трудно
 будет
 республике без Ленина.
 Надо заменить его —
 кем?
 И как?

 Довольно
 валяться
 на перине клоповой!

Товарищ секретарь!

На тебе —

вот —

просим приписать

к ячейке еркаповой

сразу,

коллективно,

весь завод...—

Смотрят

буржуи,

глазки раскоряча,

дрожат

от топота крепких ног.

Четыреста тысяч

от станка

горячих —

Ленину

первый

партийный венок.

— Товарищ секретарь,

бери ручку...

Говорят — заменим...

Надо, мол...

Я уже стар —

берите внучика,

не отстает —

подай комсомол.—

Подшефный флот,

подымай якоря,

в море

пора

подводным кротам.

«По морям,

по морям,

красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздывается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин:
— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война .
из всех,
какие знала история.

1924

ХОРОШО!**ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЭМА****1**

Время —
 вещь
 необычайно длинная,—
были времена —
 прошли былинные.

Ни былин,
 ни эпосов,
 ни эпопей.

Телеграммой
 лети,
 строфа!
Воспаленной губой
 припади
 и попей

из реки
 по имени — «Факт».

Это время гудит
 телеграфной струной,

это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.

Я хочу,
чтобы, с этою
книгой побыв,
из квартирного
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы,
как штыком,
строкой
просверкав.

Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого,—
в мускулы
усталые
лилась
строящая
и бунтующая сила.

Этот день
воспевать
никого не найдем.

Мы
 распнем
 карандаш на листе,
 чтобы шелест страниц,
 как шелест знамен,
 надо лбами
 годов
 шелестел.

2

«Кончайте войну!
 Довольно!
 Будет!
 В этом
 голодном году —

невмоготу.

Врали:

«народа —
 свобода,
 вперед,
 эпоха,
 заря...» —

и зря.

Где

земля,

и где

закон,

чтобы землю

выдать

к лету? —

Нету!

Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь? —

Шиш.
На шее
кучей
Гучковы,
черти,
министры,
Родзянки...

Мать их за́ ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит —
чего
подчиняться
ей?!

Бей!!»
То громом,
то шепотом
этот ропот
сползал
из Керенской
тюрьмы-решета.

В деревни
шел
по травам и тропам,

в заводах
 сталью зубов скрежетал.
 Чужие
 партии
 бросали швырком.
 — На что им
 сбор
 болтунов
 дался?! —
 И отдавали
 большевикам
 гроши,
 и силы,
 и голоса.
 До самой
 мужичьей
 земляной башки
 докатывалась слава,—
 лилась
 и слыла,
 что есть
 за мужиков
 какие-то
 «большаки»
 — у-у-у!
 Сила! —

3

Царям
 дворец
 построил Растрелли.
 Цари рождались,
 жили,
 старели.

Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял
и кружевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
бонапартыи
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
своею славой

пьяней,
 чем сорокаградусной.
Слушайте,
 пока не устанете,
как щебечет
 иной адъютантик:
«Такие случаи были —
он едет
 в автомобиле.
Узнавши,
 кто
 и который,—
толпа
 распрягла моторы!
Взамен
 лошадиной силы
сама
 на руках носила!»
В аплодисментном
 плеске .
премьер
 проплывает
 над Невским,
и дамы,
 и дети-пузанчики
кидают
 цветы и розанчики.
Если ж
 с безработы
 загрустится,
сам
 себя
 уверенно и быстро

Их величество?

Знаю.

Ну да!..

И руку жал.

Какая ерунда!

Императора?

На воду?

И черную корку?

При чем тут Совет?

Приказываю

туда,

в Лондон,

к королю Георгу».

Пришит к истории,

пронумерован

и скреплен,

и его

рисуют —

и Бродский и Репин.

4

Петербургские окна.

Синё и темно.

Город

сном

и покоем скован.

НО

не спит

мадам Кускова.

Любовь

и страсть вернулись к старушке.

Кровать

и мечты

розоватит восток.

Ее
 волóс
 пожелтые стружки
 причудливо
 склеил
 слезливый восторг.

С чего это
 девушка
 сохнет и вянет?

Молчит...
 но чувство,
 видать, великó.

Ее
 утешает
 усастая няня,
 выдавшая виды,—
 Пе Эн Милюков.

«Не спится, няня...
 Здесь так душно...

Открой окно
 да сядь ко мне».

— Кускова,
 что с тобой? —
 «Мне скушно...

Поговорим о старине».

— О чем, Кускова?
 Я,
 бывало,

хранила
 в памяти
 немало
 старинных былей,
 небылиц —
 и про царей
 и про цариц.

И я б,
 с моим умишкой хялым,—
 короновала б
 Михаила.

Чем брать
 династию
 чужую...

Да ты
 не слушаешь меня?! —
 «Ах, няня, няня,
 я тоскую.
 Мне тошно, милая моя.
 Я плакать,
 я рыдать готова...»
 — Господь помилуй
 и спаси...

Чего ты хочешь?
 Попроси:
 Чтобы тебе
 на нас
 не дуться,

дадим свобод
 и конституций...

Дай
 окроплю
 речей водою
 горящий бунт...—
 «Я не больна.

Я...
 знаешь, няня...
 влюблена...»

— Дитя мое,
 господь с тобою! —

И Милюков

ее

с мольбой

крестил

профессорской рукой.

— Оставь, Кускова,

в наши лета

любить

задаром

смысла нету.—

«Я влюблена»,—

шептала

снова

в ушко

профессору

она.

— Сердечный друг,

ты нездорова.—

«Оставь меня,

я влюблена».

— Кускова,

нервы,—

полечись ты...—

«Ах, няня,

он

такой речистый...

Ах, няня-няня!

няня!

Ах!

Его же ж

носят на руках.

А как поет он

про свободу...

Звякая
шпорами
довоенной выковки.
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штабс-капитан
Попов.
«Господин адъютант,
не возражайте,
не дам,—
скажите,
чего еще
поджидаем мы?
Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конечно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положенье беря,
это...
черт его знает, что это такое!

Сегодня с денщиком:

ору ему
 — эй,
 наваксь
 щиблетину,
 чтоб видеть рыло в ней! —
 И конечно —
 к матушке,
 а он *меня*
 к матушке, *к моей,*
 к свет
 к Елизавете Кирилловне!»
 «Нет,
 я не за монархию
 с коронами,
 с орлами,
 НО
 для социализма
 нужен базис.
 Сначала демократия,
 потом
 парламент.
 Культура нужна.
 А мы —
 Азия-с!
 Я даже —
 социалист.
 Но не граблю,
 не жгу.
 Разве можно сразу?
 Конечно, нет!
 Постепенно,
 понемногу,
 по вершочку,
 по шажку,

сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.
Деньги
штаба —
шпионы и агенты.
В Кресты бы
тех,
кто ездит в пломбирóванном!»
С этим согласен,
это конешно,
этой сволочи
мало повешено».
«Ленина,
который
смуту сеет,
председателем,
што ли,
совета министров?
Что ты?!
Рехнулась, старушка Рассея?
Касторки прими!
Поправьсь!
Выздоровь!
Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря
политикам ловким

быть

под началом

Бронштейна бескартузого,

какого-то

бесштанного

Левки?!

Дудки!

С казачеством

шутки плохи —

повыпускаем

им

потроха...»

И все адъютант

— ха да хи —

Попов

— хи да ха.—

«Будьте дважды прокляты

и трижды поколейте!

Господин адъютант,

позвольте ухо:

их

...ревосходительство

...ерал

Каледин,

с Дону,

с плеточкой,

извольте понюхать!

Его превосходительство...

Да разве он один?!

Казачество кубанское,

Днепр,

Дон...»

И всё стаканами —

дон и динь,

Вам,
 которые
 с Выборгской стороны,
вам
 заходить
 с моста Литейного.
В сумерках,
 тоньше
 дискантовой струны,
не галдеть
 и не делать
 заведенья питейного.

Я
 за Лашевичем
 беру телефон,—
не задушим,
 так нас задушат.

Или
 возьму телефон,
 или вон
из тела
 пролетарскую душу.

Сам
 приехал,
 в пальтишке рваном,—
ходит,
 никем не опознан.

Сегодня,
 говорит,
 подыматься рано.

А послезавтра —
 поздно.

Завтра, значит.
 Ну, несдобровать им!

Быть
Керёнскому
биту и ободрану!
Уж мы
подыдем
с царевой кровати
эту
самую
Александрю Федоровну».

6

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызменв.
Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,

тихий,
 вроде
 упакованной трубы,
 за Гатчину,
 забившись,
 улепетывал бывший —

«В рог,
 в бараний!
 Взбунтовавшиеся рабы!...»

Видят
 редких звезд глаза,
 окружая
 Зимний
 в кольца,
 по Мильонной
 из казарм
 надвигаются кексгольмцы.

А в Смольном,
 в думах
 о битве и войске,

Ильич
 гримированный
 мечет шажки,
 да перед картой
 Антонов с Подвойским
 втыкают
 в места атак
 флажки.

Лучше
 власть
 добром оставь,
 никуда
 тебе
 не деться!

Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
матросов,
голи —
дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холеном
горле
дворца.
Две тени встало.
Огромных-и шатких.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп
Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей,—
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.

Серчают стоящие павловцы:

«В политику...

начали...

бáловаться...

Куда

против нас

бочкаревским дурам?!

Приказывали б

на штурм».

Но тень

боролась,

спутав лапы,—

и лап

никто

не разнимал и не рвал.

Не выдержав

молчания,

сдавался слабый —

уходил

от испуга,

от нервá.

Первым,

боязнью одолен,

снялся

бабий батальон.

Ушли с батарей

к одиннадцати

михайловцы или константиновцы...

А Кéренский —

спрятался,

попробуй

вымань его!

Задумывалась

казацья башка.

И
 редели
 защитники Зимнего,
 как зубья
 у гребешка.
 И долго
 длилось
 это молчанье,
 молчанье надежд
 и молчанье отчаянья.
 А в Зимнем,
 в мягких мебелиях
 с бронзовыми выкрутами,
 сидят
 министры
 в меди блях,
 и пахнет
 гладко выбритыми.
 На них не глядят
 и их не слушают —
 они
 у штыков в лесу.
 Они
 упадут
 переспевшей грушею,
 как только
 их
 потрясут.
 Голос — редок.
 Шепотом,
 знаками.
 — Керенский где-то? —
 — Он?
 За казаками.—
 И снова молча.

И только

под вечер:

— Где Прокопович? —

— Нет Прокоповича.—

А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерти,

глядит

неласковая

Аврорьих

башен

сталь.

И вот

высоко

над воротником

поднялось

лицо Коновалова.

Шум,

который

тек родником,

теперь

прибоем наваливал.

Кто длинный такой?..

Дотянуться смог!

По каждому

из стекол

удары палки.

Это —

из трехдюймовок

шарахнули

форты Петропавловки.

А поверху

город

как будто взорван:

Как будто

топор

навис над затылком.

За двести шагов...

за тридцать...

за двадцать...

Вбегают

юнкер:

«Драться глупо!»

Тринадцать визгов:

— Сдаваться!

Сдаваться!—

А в двери —

бушлаты,

шинели,

тулупы...

И в эту

тишину

раскатившийся всласть

бас,

окрепший

над реями рея:

«Которые тут временные?

Слазь!

Кончилось ваше время».

И один

из ворвавшихся,

пенснишки тронув,

объявил,

как об чем-то простом

и несложном:

«Я,

председатель реввоенкомитета

Антонов,

бледнели
звезды небес
в карауле.

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами.

Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

7

В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни

поэты
и воры.
Сумрак
на мир
океан катнул.

Синь.
Над кострами —
бур.

И здесь,
 где земля
 от жары вязка́,
с испугу
 или со льда́,
ладони
 держа
 у огня в языках,
греется
 солдат.
Солдату
 упал
 огонь на глаза,
на клок
 волос
 лег.
Я узнал,
 удивился,
 сказал

«Здравствуйте,
 Александр Блок.
Лафа футуристам,
 фрак старья
разлазится
 каждым швом».
Блок посмотрел —
 костры горят —
«Очень хорошо»
Кругом
 тонула
 Россия Блока...
Незнакомки,
 дымки севера

шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
«Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...

библиотеку в усадьбе».
Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.

У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.

Вставайте!

Вставайте!

Вставайте!

Работники

и батраки.

Зажмите,

косарь и кователь,

винтовку

в железо руки!

Вверх —

флаг!

Рвань —

встань!

Враг —

ляг!

День —

дрянь.

За хлебом!

За миром!

За волей!

Бери

у буржуев

завод!

Бери

у помещика поле!

Братайся,

дерущийся взвод!

Сгинь —

стар.

В пух,

в прах.

Бей —

бар!

Трах!

тах!

Довольно,
 довольно,
 довольно
 покорность
 нести
 на горбах.

Дрожи,
 капиталова дворня!
 Тряситесь,
 короны,
 на лбах!

Жир
 ёжь
 страх
 плах!
 Трах!
 тах!
 Тах!
 тах!

Эта песня,
 перепетая по-своему,
 доходила
 до глухих крестьян —
 и вставали села,
 содрогаая воем,

по дороге
 топоры крестя.

Но-
 жи-
 чком
 на
 месте чик

лю-
то-
го
по-
мещика.
Гос-
по-
дин
по-
мещичек,
со-
би-
райте
вещи-ка!
До-
шло
до поры,
вы-
хо-
ди,
босы,
вос-
три
топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба-
рыни сами.
Тащъ
в хату
пианино,
граммофон с часами!

Под-
хо-
ди-
те, орлы!
Будя —
пограбили.
Встречай в колы,
провожай
в грабли!
Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарчи-ка!
Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.
Под-
пусть
петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
потухай,—
пет-
тух милый!
Черт
ему
теперь
родня!
Головы —
кочаном.
Пулеметов трескотня
сыпется с тачанок.

наши
 грузим
 дрова.
Можно
 уйти
 часа в два,—
но *мы* —
 уйдем поздно.
Нашим товарищам
 наши дрова
нужны:
 товарищи мерзнут.
Работа трудна,
 работа
 томит.
За нее
 никаких копеек.
Но *мы*
 работаем,
 будто *мы*
делаем
 величайшую эпопею.
Мы будем работать,
 все стерпя,
чтоб жизнь,
 колёса дней торопя,
бежала
 в железном марше
в *наших* вагонах,
 по *нашим* степям,
в города
 промерзшие
 наши.
«Дяденька,
 что вы делаете тут,

столько
 больших дядей?»
 — Что?
 Социализм:
 свободный труд
 свободно
 собравшихся людей.

9

Перед нашею
 республикой
 стоят богатые.
 Но как постичь ее?

И вопросам
 разнедоуменным
 нёт числа:
 что это
 за нация такая
 «социалистичья»,
 и что это за
 «соци-
 алистическое отечество»?

«Мы
 восторги ваши
 понять бессильны.
 Чем восторгаются?
 Про что поют?
 Какие такие
 фрукты-апельсины
 растут
 в большевицком вашем
 раю?»

Жена,
 да квартира,
 да счет текущий —
 вот это —
 отечество,
 райские кущи.
 Ради бы
 вот
 такого отечества
 мы понимали б
 и смерть
 и молодечество».

Слушайте,
 национальный трутень,—
 день наш
 тем и хорош, что труден.
 Эта песня
 песней будет
 наших бед,
 побед,
 буден.

10

Политика —
 проста.
 Как воды глоток.
 Понимают
 ощерившие
 сытую пасть,
 что если
 в Россиях
 увязнет коготок,

И

миноносцы

с минами носятся.

А

поверх

всех

с пушками

чудовищной длинноты

сверх-

дредноуты.

Разными

газами

воняя гадко,

тучи

пропеллерами выдрав,

с авиаматки

на авиаматку

пе-

ре-

пархивают «гидро».

Послал

капитал

капитанов ученых.

Горло

нащупали

и стискивают.

Ткнешься

в Белое,

ткнешься

в Черное,

в Каспийское,

в Балтийское,—

куда

корабль

ни тычется,

конец
 катаниям.
 Стоит
 морей владычица,
 бульдожья
 Британия.

Со всех концов
 блокады кольцо
 и пушки
 смотрят в лицо.
 — Красным не нравится?!

Им
 голодно?!

Рыбкой
 наедитесь,
 пойдя
 на дно.—

А кому
 на суше
 грабить охота,

те
 с кораблей
 сходили пехотой.

— На море потопим,
 на суше
 потопаем.—

Чужими
 руками
 жар гребя,

дым
 отечества
 пускают
 пострелины —

выставляют
вперед
одураченных ребят,
баронов
и князей недорастрелянных.
Могилы копайте,
гроба копайте —
Юденича
рати
прут
на Питер.
В обозах
еды вкусят,ся,
консервы —
пуд.
Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утеху,
с ним
идут
голубые чехи.
Траншен,
машинами выбранные,
саперами
Крым
перекопан,—

Врангель
 крупнокалиберными
орудует
 с Пёрекопа.
Любят
 полковников
 сентиментальные леди.
Полковники
 любят
 поговорить на обеде.
— Я
 иду, мол
 (прихлебывает виски),
а на меня
 десяток
 чудовищ
 большевицких.
Раз — одного,
 другого —
 рраз,—
кстати,
 как денди,
 и девушку спас.—
Леди,
 спросите
 у мерина сивого —
он
 как Мурманск
 разизнасилвал.
Спросите,
 как —
Двина-река,
кровью
 крашенная,

трупы
 вѣтая,
с кладью
 страшною
шла
 в Ледовитый.
Как храбрецы
 расстреливали кучей
коммуниста
 одного,
 да и тот скручен.
Как офицера
 его
 величества
бежали
 от выстрелов,
 берег вычистя.
Как над серыми
 хатами
 огненные перья
и руки
 холѣные
 туго
 у горл.
Но...
 «итс э лонг уэй
 ту Типерери,
итс э лонг уэй
 ту го!»
На первую
 республику
 рабочих и крестьян,
сверкая
 выстрелами,
 штыками блестя,

гнали
 армии,
 флоты катили
 богатые мира,
 и эти
 и те...
 Будьте вы прокляты,
 прогнившие
 королевства и демократии,
 со своими
 подмоченными
 «фратэрнитэ» и «эгалитэ»!¹
 Свинцовый
 льется
 на нас
 кипяток.
 Одни мы —
 и спрятаться негде.
 «Янки
 дудль
 кип ит об,
 янки дудль денди».
 Посреди
 винтовок
 и орудий голосища
 Москва —
 островком,
 и мы на островке.
 Мы —
 голодные,
 мы —
 нищие,
 с Лениным в башке
 и с наганом в руке.

¹ братство и равенство (фр.— fraternité, égalité).

Несется
 жизнь,
 овеевая,
проста,
 суха.
Живу
 в домах Стахеева я,
теперь
 Веэсэнха.
Свезли,
 винтовкой звякая,
богатых
 и кассы.
Теперь здесь
 всякие
и люди
 и классы.
Зимой
 в печурку-пчелку
суют
 тома шекспирьи.
Зубами
 щелкают,—
картошка —
 пир им.
А летом
 слушают асфальт
с копейками
 в окне:
— Трансваль,
 Трансваль,
 страна моя,

ты вся
 горишь
 в огне! —
Я в этом
 каменном
 котле
варюсь,
 и эта жизнь —
и бег, и бой,
 и сон,
 и тлен —
в домовьи
 этажи
отражена
 от пят
 до лба,
грозою
 омываемая,
как отражается
 толпа
идущими
 трамваями.
В пальбу
 присев
 на корточки,
в покой
 глазами к форточке,
чтоб было
 видней,
я
 в комнатенке-лодочке
проплыл
 три тыщи дней.

Ходят
 спекулянты
 вокруг Главтопа.

Обнимут,
 зацелуют,
 убьют за руп.

Секретарши
 ответственные
 валенками топают.

За хлебными
 карточками
 стоят лесорубы.

Много
 дела,
мало
 горя им,
фунт
 — целый! —
первой категории.

Рубят,
 липовый

чай
 выкушав:
— Мы
 не Филипповы,
мы —
 привыкши.

Будет
 обед,
 будет
 ужин,—

белых бы
 вон
 отбить от ворот.
Есть захотелось,
 пояс —
 потуже,
в руки винтовку
 и
 на фронт.—

А
 мимо —
незаменимый.
Стуча
 сапогом,
идет за пайком —
Правление
 выдало
урюк
 и повидло.
Богатые —
 ловче,
едят
 у Зунделовича.
Ни щей,
 ни каш —
бифштекс
 с бульоном,
хлеб
 ваш,
полтора миллиона.
Ученому
 хуже:
фосфор
 нужен,

масло
на блюде.

Но,
как на́зло,
есть революция,
а нету
масла.

Они
научные.
Напишут,
вылечат.

Мандат, собственноручный,
Анато́ль Васи́льича.

Где
хлеб
да мя́са,
придут
на час к вам.

Читает
комиссар
мандат Луначарского:
«Так...
сахар...
так...
жирок вам.

Дров...
березовых...
посуше поленья...

и шубу
широкого
потребленья.
Я вас,
товарищ,
спрашиваю в упор.

иду.

На Ярославский.

Как парус,

шуба

на весу,

воняет

козлом она.

В саних

полено везу,

забрал

забор разломанный.

Полено —

тушею,

тверже камня.

Как будто

вспухшее

колени

великанье.

Вхожу

с бревном в обнимку.

Запотел.

вымок.

Важно

и чинно

строгаю перочинным.

Нож —

ржа.

Режу.

Радуюсь.

В голове

жар

подымает градус.

Зацветают луга,

май
поет
в уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами-сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облёт.
По розовой
глади
моря,
на юг —
тучи-корабли.

За гладь,
 за розовую,
бросать якоря,
туда,
 где березовые
дрова
 горят.

Я
 много
 в теплых странах плутал.
Но только
 в этой зиме
понятной
 стала
 мне
 теплота
любовей,
 дружб
 и семей.

Лишь лежа
 в такую вот гололедь,
зубами
 вместе
 проляскав —
поймешь:
 нельзя
 на людей жалеть
ни одеяло,
 ни ласку.
Землю,
 где воздух,
 как сладкий морс,
бросишь
 и мчишь, колеса,—

но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

14

Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто навеки
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь.
Я
дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы-
водники —
не очень
сытенькие,

не очень
 голодненькие.

Если
 я
 чего написал,
если
 чего
 сказал —
тому виной
 глаза-небеса,
любимой
 моей
 глаза.

Круглые
 да карие,
горячие
 до гари.

Телефон
 взбесился шалый,
в ухо
 грохнул обухом:
карие
 глазища
 сжала

голода
 опухоль.

Врач наболтал —
чтоб глаза
 глазели,
нужна
 теплота,
нужна
 зелень.

Не домой,
 не на суп,

а к любимой
 в гости,
две морковинки
 несу
за зеленый хвостик.
Я
 много дарил
 конфekt да букетов,
но больше
 всех
 дорогих даров
я помню
 морковь драгоценную эту
и пол-
 полена
 березовых дров.
Мокрые,
 тощие
под мышкой
 дровинки,
чуть
 потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
 щелки.
Зелень
 и ласки
выходили глазки.
Больше
 блюдца,
смотрят
 революцию.
Мне
 легше, чем всем,—

я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусочек
конский.
Скрип —
дверь,
плача.
Сестра
младшая.
— Здравствуй, Володя!
— Здравствуй, Оля!
— Завтра новогодние —
нет ли
соли? —
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.
Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —

отдай
 шепотку.
Пришла,
 а соль
 не вáлится —
примерзла
 к пальцам.
За стенкой
 шарк:
«Иди,
 жена,
продай
 пиджак,
купи
 пшена».
Окно,—
 с него
идут
 снега,
мягка
 снегов
тиха
 нога.
Бела,
 гола
столиц
 скала.
Прилип
 к скале
лесов
 скелет.
И вот
 из-за леса
 небу в шаль

вползает
солнца
вша.
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи
к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:
Я
землю
эту
люблю.

Можно
 забыть,
 где и когда
 пузы растил
 и зобы,
 но землю,
 с которой
 вдвоем голодал,—
 нельзя
 никогда
 забыть!

15

Под ухом
 самым
 лестница
 ступенек на двести,—
 несут
 минуты-вестницы
 по лестнице
 вести.
 Дни пришли
 и топали:
 — Дóжили,
 вот вам,—
 нету
 топлив
 брюхам
 заводовым.
 Дымом
 небесный
 лак помутив,

это
партия звала:
«Пролетарий, на коня!»
И красные
скачут
на юг
эскадроны —
Мамонтова
нагонять.
Сегодня
день
вбежал второпях,
криком
тишь
порвав,
простреленным
легким
часто хрипя,
упал
и кончался,
кровав.
Кровь
по ступенькам
стекала на пол,
стыла
с пылью пополам
и снова
на пол
каплями
капала
из-под пули
Каплан.
Четверолапые
зашагали,

визг
шел
шакалий.
Салоп
говорит
чуйке,
чуйка
салопу:
— Заерзали
длинноносые шуки!

Скоро
всех
слопают! —
А потом
топырили
глаза-тарёлины
в длинную
фамилий
и званий тропу.

Ветер
сдирает
списки расстрелянных,
рвет,
закручивает
и пускает в трубу.

Лапа
класса
лежит на хищнике —

Лубянская
лапа
Чека.

— Замрите, враги!
Отойдите, лишненькие!

Обыватели!

Смирно!

У очага! —

Миллионный

класс

вставал за Ильича

против

белого

чудовища клыкастого,

и вливалось

в Ленина,

леча,

этой воли

лучшее лекарство.

Хоронились

обыватели

за кухни,

за пеленки.

— Нас не трогайте —

мы

цыпленки

Мы только мошки,

мы ждем кормежки.

Закройте,

время,

вашу пасть!

Мы обыватели —

нас обувайте вы,

и мы

уже

за вашу власть. —

А утром

небо —

веча звонница!

Вчерашний

день

вина во лжи,

расколоковали

птицы и солнце:

жив,

жив,

жив,

жив!

И снова

дни

чередой заводной

сбегались

и просили:

— Идем

за нами —

«еще

одно

усилье». —

От боя к труду —

от труда

до атак, —

в голоде,

в холоде

и нагоде

держали

взятое,

да так,

что кровь

выступала из-под ногтей.

Я видел

места,

где инжир с айвой

росли
 без труда
 у рта моего,—
к таким
 относишься
 иначе.
Но землю,
 которую
 завоевал
и полуживую
 вынянчил,
где с пулей встань,
 с винтовкой ложись,
где каплей
 льешься с массаами,—
с такою
 землею
 пойдешь
 на жизнь,
на труд,
 на праздник
 и на смерть!

16

Мне
 рассказывал
 тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что
 вышел я
 из дверей,
вижу —
 они плывут...»

Бегут
 по Севастополю
 к дымящим пароходам.
 За дeнь
 подметок стопали,
 как зá год похода.
 На рейде
 транспорты
 и транспорточки,
 драки,
 крики,
 ругня,
 мотня,—
 бегут
 добровольцы,
 задрав порточки,—
 чистая публика
 и солдатня.
 У кого —
 канарейка,
 у кого —
 роялина,
 кто со шкафом,
 кто
 с утюгом.
 Кадеты —
 на что уж
 люди лояльные —
 толкались локтями,
 крыли матюгом.
 Забыли приличия,
 бросили моду,
 кто —
 без юбки,
 а кто —
 без носков.

Бьет
 мужчина
 даму
 в морду,
солдат,
 полковника
 сбивает с мостков.

Наши наседали,
 крыли по трапам,
кашей
 грузился
 последний эшелон.

Хлопнув
 дверью,
 сухой, как рапорт,
из штаба
 опустевшего
 вышел он.

Глядя
 на ноги,
шагом
 резким
шел
 Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
 гóло.

Лодка
 шестивесельная
стоит
 у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,

пули
 шальной
 надо.
 Два
 миноносца-американца
 стояли
 на рейде
 рядом.

Адмирал
 трубой обвел
 стреляющих
 гор
 край:

— Ол
 райт.—
 И ушли
 в хвосте отступающих свор,—
 орудия на город,
 курс на Босфор.
 В духовках солнца
 горы
 жарко́е.

Воздух
 цветы рассиропили.
 Наши
 с песней
 идут от Джанкоя,
 сыпятся
 с Симферополя.
 Перебивая
 пульь разговор,
 знаменами
 бой
 овевая,

с красными
 вместе
 спускается с гор
песня
 боевая.
Не гнулась,
 когда
 пулеметом крошило,
вставала,
 бесстрашная,
 в дожде-свинце:
«И с нами
 Ворошилов,
первый красный офицер».
Слушают
 пушки,
 морские ведьмы,
у-
 ле-
 петьвая
 во винты во все,
как сыпется
 с гор
 — «готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!».—
Начштаба
 морщит лоб.
Пальцы
 корявой руки
буквы
 непослушные гнут:
«Врангель
 оп-
 раки-
 нут

в море.

Пленных нет».

Покамест —

точка

и телеграмме

и войне.

Вспомнили —

недопахано,

недожато у кого,

у кого

доменные

топки да зóри.

И пошли,

отирая пот рукавом,

расставив

на вышках

дозоры.

17

Хвалить

не заставят

ни долг,

ни стих

всего,

что делаем мы.

Я

пол-отечества мог бы

снести,

а пол —

отстроить, умыв.

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая —
на сажень вижу,
из-под нее
коммуны
дома
прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам
с унылым
пудом сенца́,

уверен
и весел,
горд
и торжествен.
Сюда,
под траур
и плеск чернофлажий,
пока
убитого
кровь горяча,
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
кричать
и рычать.
Я
здесь
бывал
в барабанах стучащих
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —
просто
один.
Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхние шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,

площадь
 в сиянье,
 в яви
 в денной...

Стена —
 и женщина со знаменем
склонилась
 над теми,
 кто лег под стеной.

Облил
 булыжники
 лунный никель,
штыки
 от луны
 и тверже
 и злей,

и,
 как нагроможденные книги,—
его
 Мавзолей.

Но в эту
 дверь
 никакая тоска
не втянет
 меня,
 черна и вязка,—
души
 не смущу
 мертвизной,—
он бьется,
 как бился
 в сердцах
 и висках,

живой
 человечьей весной.

прошел
 человек,
 железен и жилист.
Юноше,
 обдумывающему
 житье,
решающему —
 сделать бы жизнь с кого,
скажу
 не задумываясь —
 «Делай ее
с товарища
 Дзержинского».
Кто костями,
 кто пеплом
 стенам под стопу
улеглись...
 А то
 и пепла нет.
От трудов,
 от каторг
 и от пуль,
и никто
 почти —
 от долгих лет.
И чудится мне,
 что на красном погосте
товарищей
 мучит
 тревоги отравы.
По пеплам идет,
 сочится по кости,
выходит
 на свет
 по цветам
 и по травам.

И травы
 с цветами
 шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
 вы здесь?
 Скажите —
 не сдали?

Идут ли вперед?
 Не стоят ли? —
 Скажите.

Достроит
 коммуну
 из света и стали
республики
 вашей
 сегодняшний житель? —

Тише, товарищи, спите...

Ваша
 подросток-страна
с каждой
 весной
 ослепительней,

крепнет,
 сильна и стройна.

И снова
 шорох
 в пепельной вазе,

лепечут
 венки
 языками лент:

— А в ихних
 черных
 Европах и Азиях

боязнь,
дремота и цепи? —
Нет!

В мире
насилия и денег,
тюрем
и петель витья —
ваши
великие тени
ходят,
будя
и ведя.

— А вас
не тянет
всевластная тина?

Чиновность
в мозгах
паутину
не свила?

Скажите —
цела?
Скажите —
едина?

Готова ли
к бою
партийная сила? —

Спите,
товарищи, тише...

Кто
ваш покой отберет?

Встанем,
штыки ошестинивши,
с первым
приказом:

«Вперед!»

Я
 земной шар
чуть не весь
 обошел,—
и жизнь
 хороша,
и жить
 хорошо.
А в нашей буче,
 боевой, кипучей,—
и того лучше.
Вьется
 улица-змея.
Дома
 вдоль змеи.
Улица —
 моя.
Дома —
 мои.
Окна
 разинув,
стоят
 магазины.
В окнах
 продукты:
вина,
 фрукты.
От мух
 кисея.
Сыры
 не засижены.
Лампы
 сияют.

«Цены
 снижены».
Стала
 оперяться
моя
 кооперация.
Бьем
 грошом.
Очень хорошо.
Грудью
 у витринных
 книжных груд.
Моя
 фамилия
 в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
 это
 мой труд
вливается
 в труд
 моей республики.
Пыль
 взбили
шиной губатой —
в моем
 автомобиле
мои
 депутаты.
В красное здание
на заседание.
Сидите,
 не советейте
в моем
 Моссовете.
Розовые лица.

Буржуя́м
 под зад
 нада́ют
 коленцем.
 Суд
 жгут.
 Зер
 гут¹.
 Идет
 пожар
 сквозь бума́жный шорох.
 Проку́роры
 дрожат.
 Как хоро́шо!
 Пестри́т
 передови́ца
 угроз паршо́й.
 Чтоб им пода́виться.
 Грозят?
 Хорошо.
 Полки
 идут
 у меня́ на виду́.
 Бараба́ну
 в бока
 бьют
 войска.
 Нога
 крепка,
 голова
 высока.
 Пушки
 ввозятся,—

¹ Очень хорошо (нем.— Sehr gut).

идут
 краснозвездцы.
 Приспособил
 к маршу
 такт ноги:
 вра-
 ги
 ва-
 ши —

 мо-
 и
 вра-
 ги.
 Лезут?
 Хорошо.
 Сотрем
 в порошок.
 Дымовой
 дых
 тяг.

 Воздуха́ береги.
 Пых-дых,
 пых-
 тят
 мои фабрики.
 Пыши,
 машина,
 шибче-ка,

 вовек чтоб
 не смолкла,—
 побольше
 ситчика
 моим
 комсомолкам.

Ветер

 подул
в соседнем саду.

В ду-

 хах

 про-

 шел.

Как хо-

 рошо!

За городом —

 поле.

В полях —

 деревеньки.

В деревнях —

 крестьяне.

Бороды

 веники.

Сидят

 папаш.

Каждый

 хитр.

Землю попашет,

попишет

 стихи.

Что ни хутор,

от ранних утр

работа любá.

Сеют,

 пекут

мне

 хлебá.

Доят,

 пашут,

ловят рыбицу.

Республика наша

строится,
дыбится.
Другим
странам
по сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток, —
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!

Жизнь прекрасна
и
удивительна.

Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

1927

и мне бы
 строчить
 романсы на вас —
 доходней оно
 и прелестней.
 Но я
 себя
 смирял,
 становясь
 на горло
 собственной песне.
 Слушайте,
 товарищи потомки,
 агитатора,
 горлана-главаря,
 Заглуша
 поэзии потоки,
 я шагну
 через лирические томики,
 как живой
 с живыми говоря.
 Я к вам приду
 в коммунистическое далекó
 не так,
 как песенно-есененный провитязь.
 Мой стих дойдет
 через хребты веков
 и через головы
 поэтов и правительств.
 Мой стих дойдет,
 но он дойдет не так,—
 не как стрела
 в амурно-лировой охоте,
 не как доходит
 к нумизмату стершийся пятак
 и не как свет умерших звезд доходит.

Мой стих

трудоМ

громаду лет прорвет

и явится

весомо,

грубо,

зримо,

как в наши дни

вошел водопровод,

сработанный

еще рабами Рима.

В курганах книг,

похоронивших стих,

железки строк случайно обнаруживая,

вы

с уважением

ощупывайте их,

как старое,

но грозное оружие.

Я

ухо

словом

не привык ласкать;

ушку девическому

в завиточках волоска

с полупохабщины

не разалеться тронуту.

Парадом развернув

моих страниц войска,

я прохожу

по строчечному фронту.

Стихи стоят

свинцово-тяжело,

готовые и к смерти,
и к бессмертной славе.

Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.

Оружия
любимейшего
род,

готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.

И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,

до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.

Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.

Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.

Мы открывали
Маркса
каждый том,

построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как «проституция»,
«туберкулез»,
«блокада».

Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай быстрее протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.

Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

А вы могли бы?	5
Я	5
От усталости	9
Адище города	9
Нате!	10
Послушайте!	11
А все-таки	12
Война объявлена	13
Мама и убитый немцами вечер	14
Скрипка и немножко нервно	16
Я и Наполеон	17
Вам!	20
Гимн судье	21
Военно-морская любовь	22
Гимн обеду	23
Внимательное отношение к взяточникам	25
Ко всему	26
Лиличка! <i>Вместо письма</i>	31
Надоело	33
Дешевая распродажа	35

Себе, любимому, посвящает эти строки автор	37
Революция. <i>Поэтохроника</i>	39
К ответу!	47
«Ешь ананасы, рябчиков жуй...»	48
Наш марш	48
Хорошее отношение к лошадям	49
Ода революции	51
Приказ по армии искусства	53
Поэт рабочий	54
Левый марш	56
Мы идем	58
Владимир Ильич!	59
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	62
Гейнеобразное	66
Последняя страничка гражданской войны	66
О дряни	68
Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссий- ском масштабе	70
Приказ № 2 армии искусств	72
Прозаседавшиеся	75
Сволочи!	77
Моя речь на Генуэзской конференции	83
Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)	86
Мы не верим!	91
Молодая гвардия	92
Комсомольская	94
Юбилейное	99
Тамара и Демон	110
Прощанье	115
6 монахинь	116
Атлантический океан	119
Мелкая философия на глубоких местах	124
Блек энд уайт	126
Бродвей	130

Порядочный гражданин	133
Вызов	137
Бруклинский мост	140
Домой!	145
Сергею Есенину	148
Разговор с фининспектором о поэзии	154
Послание пролетарским поэтам	164
Товарищу Нетте — пароходу и человеку	170
Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия»	173
Не юбилейте!	175
Нашему юношеству	180
Лучший стих	185
Общее руководство для начинающих подхалим	188
Письмо к любимой Молчанова, брошенной им...	192
Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру	196
Служака	200
Трус	203
Евпатория	207
Секрет молодости	209
Столп	211
Подлиза	214
Стихи о разнице вкусов	217
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви	218
Письмо Татьяне Яковлевой	223
Разговор с товарищем Лениным	227
Парижанка	230
Красавицы	233
Стихи о советском паспорте	235
Птичка божия	238
Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка	242
Марш ударных бригад	245

Стихи детям

Что такое хорошо и что такое плохо?	248
Возьмем винтовки новые	252
Кем быть?	254

ПОЭМЫ

Облако в штанах	265
Люблю	290
Владимир Ильич Ленин	301
Хорошо!	389
Во весь голос	484

Маяковский В. В.

М39 Стихотворения. Поэмы.— М.: Худож. лит.,
1986. — 495 с. (Классики и современники.
Поэтич. б-ка).

В книгу включены избранные стихотворения В. В. Маяковского (1893—1930) и поэмы «Облако в штанах», «Люблю», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!» и «Во весь голос».

М 4702010200-207 80-86
028(01)-86

ББК 84Р7

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ

Поэтическая библиотека

**ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
МАЯКОВСКИЙ**

Стихотворения. Поэмы

Редактор *Е. Дворецкая*

Художественный редактор *А. Моисеев*

Технический редактор *Г. Такташова*

Корректоры *С. Свиридов, Т. Гринивецкая*

ИБ № 4275

Сдано в набор 28.10.85. Подписано в печать 31.03.86. Бумага офс. № 2. Формат 70×100¹/₃₂. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,09. Усл. кр.-отт. 40,5. Уч.-изд. л. 23,01. Тираж 600 000 экз. (1з-д 1—300 000). Изд. № 1-2105. Заказ 2507. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Калининском полиграфическом комбинате Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.

1 р. 90 к.



Поэтическая библиотека

